



Библиотека журнала "Голос Эпохи"

Елена Семенова

ПРЕТЕРПЕВШИЕ ДО КОНЦА

Том I

Елена Семёнова

Претерпевшие до конца. Том 1

«ЛитРес: Самиздат»

2013

Семёнова Е. В.

Претерпевшие до конца. Том 1 / Е. В. Семёнова — «ЛитРес: Самиздат», 2013

XX век стал для России веком великих потерь и роковых подмен, веком тотального и продуманного физического и духовного геноцида русского народа. Роман «Претерпевшие до конца» является отражением Русской Трагедии в судьбах нескольких семей в период с 1918 по 50-е годы. Крестьяне, дворяне, интеллигенты, офицеры и духовенство – им придётся пройти все круги ада: Первую Мировую и Гражданскую войны, разруху и голод, террор и чистки, ссылки и лагеря... И в условиях нечеловеческих остаться Людьми, в среде торжествующей сатанинской силы остаться со Христом, верными до смерти. Роман основан на обширном документальном материале. Сквозной линией повествования является история Русской Церкви означенного периода – тема, до сих пор мало исследованная и замалчиваемая в ряде аспектов. «Претерпевшие до конца» являются косвенным продолжением известной трилогии автора «Честь никому!», с героями которой читатели встретятся на страницах этой книги.

Содержание

ОМУТ	5
Глава 1. Дом	6
Глава 2. Аглая	18
Глава 3. Не от мира сего	21
Глава 4. Встреча	37
Глава 5. Милосердная барышня	43
Глава 6. Званный обед	53
Глава 7. Бастард	63
Глава 8. О любви	66
Глава 9. Лидия	68
Глава 10. В саду	71
Глава 11. Спящий герой	76
Глава 12. Воскресение	79
Глава 13. Измена	84
Глава 14. Бездна	89
ПОЛЫМЯ	95
Глава 1. Живой	96
Глава 2. Воскрешение Лазаря	107
Глава 3. Матвейч	112
Конец ознакомительного фрагмента.	117

ОМУТ

Глава 1. Дом

Ничего нет прекраснее июньского утра. самого раннего, когда, лишь немного вздремнув короткой ночью, солнце дарит свои первые, ещё робкие, ещё матерински-нежные, не обещающие дневного жара лучи. Когда воздух чист и пропитан росистой свежестью и ароматами трав настолько, что не хватает лёгких, чтобы вобрать его, и, кажется, что лопнет грудь от восторженно-упоённого вздоха. Когда дневная суета ещё не вторглась разноголосым гомоном в величавую тишь первозданного царства природы, и лишь щебет птиц услаждает слух...

– Бог ты мой, как же хорошо! – шумно выдохнул Родион, ненасытно озираясь кругом, оглядывая дорогие сердцу места. – Ну, что молчишь? – толкнул локтём сидевшего подле приятеля.

– Да... Красиво у вас... – только и ответил Никита. И явно не было ему никакого дела до раскинувшихся кругом красот, а лишь до одного – добраться бы скорее до дома и окунуться лицом в подушку. И проспять до обеда, а то и долее. И то сказать – почитай сутки без сна. И который час мчали и мчали по ухабистым дорогам. Предлагал Никита заночевать в городе, прежде чем в дальнейший путь пускаться. Но Родион упёрся – ни мгновения не хотел терять. Домой! Как можно в городе ночевать, когда до дома, вон – рукой подать? Да уже бы и там были, кабы не полетела рессора у чёртовой коляски. И не пришлось ожидать починки. Ах, и не стоило б вовсе с коляской возиться – верхом давно бы уже дома были! Но... Но такой прогулки Никита бы уж точно не одобрил. Это Родион, с малых ногтей к лошадям приученный, мог сутки мчать во весь опор, а Никита – дело другое. В артиллерии родимой, пожалуй, и потолковее Родиона он, но наездник никудышный. Вот, и пришлось в коляске трястись.

– Красиво... – фыркнул Родион. – Ты б хоть глаза разомкнул. Офицер! Сутки лишь без отдыха, и уже спишь на ходу!

– Поди теперь не война, – зевнул Никита.

Родион махнул рукой: безнадежен был друг закадычный, совершенно безнадежен. И снова вбирал сладость утреннего воздуха. Вот, мелькнут дни июньские, и уже помину от этой сладости не останется – спеши, лови мгновенья эти! И трепетало сердце от вида родных поворотов, перелесков, лугов. Ничего-то не менялось здесь! Та же милая безмятежность... И всё-то знакомо, и со всем-то дорогие сердцу воспоминания связаны.

Вон, в том лесу, что на горизонте в молочной дымке синее непреступной крепостной стеной с острыми башнями, однажды наспор провёл один целую ночь. Якобы случайно отстав от сельской ребятни, с которой пошёл по грибы, укрылся в чаще так, что едва не заблудился на самом деле. По счастью, сумел развести костёр, а то бы, пожалуй, замёрз ночью или стал волчьей добычей. Волки-то кружили всю ночь, завывали. Так страшно было, что вскарабкался на дерево и просидел до света без сна на ветке, обхватив руками ствол. Правда, после о страхе своём никому не обмолвился, а держался героем. Мол, что нам ночь в лесу! Что нам звери дикие! Подумаешь! Пусть их девчонки боятся, а Роде Аскольдову всё нипочём!

Мальчишки деревенские уважительно смотрели, зато отец такого задал жару, что волки и впрямь меньшим страхом показались. Грозил всю ночь искавший непутёвое чадо родитель посадить его под замок – книжной премудрости обучаться вместо того, чтобы по лесам да болотам, как мужицкий сын, целыми днями пропадать. Но, по счастью, от такой страшной кары избавила мать, всегда умевшая смягчить крутой нрав отца.

Николай Кириллович Аскольдов был человеком суровым и властным. Подчас до деспотизма. Эти качества, однако, сочетались в нём с широтой кругозора, благодаря которой ещё задолго до столыпинской реформы он не боялся нововведений и успешно внедрял их на своих землях. Отец был убеждённым консерватором в политике, но в вопросах экономических отли-

чался взглядами передовыми. А его суровость ничуть не мешала ему быть доступным для всякого нуждающегося и без малейшей заносчивости общаться с мужиками. В его отношении с ними никогда не было показного либеральничания, панибратства, а всегда сохранялась дистанция, сопряжённая с неизменно уважительным отношением отца к человеческой личности.

В молодые годы Николай Кириллович мечтал о карьере на поприще военном. Но едва дослужившись до поручика, вынужден был оставить службу из-за сильнейшего ревматизма, который с той поры уже не покидал его в протяжении всей жизни. Как ни жаль было утраченной мечты, а не таков был отец, чтобы погрузиться в тоску. Его энергичный, волевой характер требовал действия. Требовал живой, серьёзной работы. *Дела.*

Делом этим стало имение Глинское, унаследованное от бабки и порядком запущенное, когда Николай Кириллович с молодой женой и новорожденной Лялей обосновались в нём.

Первым делом отец перестроил дом. Старого, полуразрушенного, Родион уже не застал. В его памяти жил лишь один Дом. Бревенчатый, облицованный тёмсом, выкрашенным тёмно-коричневой краской, с высоким крыльцом, украшенным затейливым кружевом резьбы, по которой нашлись в деревне дюжие мастаки. Точно так же разукрашены были ставни и наличники.

Дом походил на средневековый русский терем. Именно таким желал видеть его отец. Он не был просто кровом, местом обитания, стенами и крышей, а живым, одушевлённым существом. В нём всегда царил уют и теплота. От изразцовых голландок, от кремовых занавесок на широких окнах, благодаря которым комнаты всегда были залиты светом, от массивной мебели тёмного дерева и старых портретов...

Двухэтажный дом венчала небольшая мансарда, где хранились массивные сундуки со старыми вещами, и где так чудно было прятаться в детстве, мечтая о приключениях и зачитываясь романами Жюль Верна, Вальтера Скотта, легендами о рыцарях круглого стола, дивными шотландскими балладами, в которых всё было проникнуто завораживающей ребячьей душой тайной!.. Роде представлялось, что и в лесах, раскинувшихся вокруг усадьбы, непременно должны жить духи и другие существа, о которых повествовали легенды. Он даже пытался тайком искать их, но, увы, безуспешно.

Отец желал, чтобы Родя больше времени уделял литературе серьёзной, наукам. Но науки были нестерпимо унылы, и нерадивый ученик снова скрывался на чердаке, уносясь в чудесные, неведомые миры. Он то грезил о морских путешествиях, то представлял себя благородным рыцарем, буквально задыхаясь от жажды подвигов и приключений.

Прочитав очередную книгу, Родя пересказывал её деревенским приятелям, и начиналось не менее упоительное – игра! На ролевые игры его фантазия была неистощима. Ведь только в этих играх он, мальчишка, мог почти взаправду превратиться в доблестного рыцаря или отважного следопыта.

Отца сердили подобные легкомысленные забавы. Николай Кириллович считал, что сыновья с малых ногтей должны приучаться к порядку, к труду. Старший, Митя, радовал его, унаследовав серьёзность и вдумчивость. Он не носился с сельской ребятнёй, не пропадал целыми днями в поисках приключений, не бродил по болотам в компании верного пса... Зато всегда сопровождал отца в поездках. Во время жатвы вместе с ним целыми днями мог проводить в поле. Не отлынивал от уроков. О Роде же отец говорил безнадежно:

– Пустопляс! Не будет из него толку!

Помощники Николаю Кирилловичу были нужны. Широко был его размах. Отставной поручик, он весь свой воинский огонь, несомненно выведший бы его в генералы, тратил на устройство хозяйства. Самолично вычитал все труды по агрономии, какие смог достать, пристально изучил зарубежный опыт, совершив даже поездку в Германию, и твёрдо, последовательно начал внедрять разнообразные новшества. Закупленные им сорта зерновых культур и овощей, обещавшие наилучшие урожаи, уже в первые два года с лихвой оправдали надежды.

Обработка земли, уход за растениями, удобрение почвы – всё было отныне поставлено на научную основу. Удалось и труд людей организовать наилучшим образом.

Позднее свой опыт отец изложил в специальной докладной записке, которую составил для комиссии по земельной реформе.

Не доверяя управляющим, он предпочитал всем заниматься лично. Несмотря на преследовавшие его суставные боли, Николай Кириллович не давал себе отдыха. Он вникал во всё, и, казалось, ничего не могло укрыться от его острого, зоркого глаза. Мужики побаивались его, но уважали. За отсутствие барства, за то, что работал не менее их, не гнушаясь подчас и тяжёлого, «небарского» труда, за ум и справедливость. Никто из мужиков не смел обманывать отца, точно зная, что никакой подвох от него не укроется. И что сам он никогда не удержит причитающегося им по праву.

Крестьянам было, за что уважать отца. Это его трудами появилась в Глинском школа. Поддержание самого здания, его отопление и прочие хозяйственные заботы взяли на себя по уговору сами мужики, а жалование учителю положил Николай Кириллович.

Так, в Глинском появился молодой, приятной наружности, интеллигентный человек. Алексей Васильевич Надёжин. Он часто бывал в доме, где всегда был званым гостем. Его подвижный ум, начитанность, остроумие и природное благородство манер располагали к нему. Родион любил, когда Алексей Васильевич приходил в гости. Любил слушать его всегда содержательные, яркие рассказы. Молодой учитель был не лишён литературного таланта. Мать не раз спрашивала его, не пишет ли он тайком. Алексей Васильевич отвечал отрицательно, но при этом отчего-то смущался...

Надёжин любил музыку, а потому никогда не пропускал музыкальных вечеров, которые регулярно устраивала мать. Родион удивлялся тому, как отрешённо слушал он играемые матерью или тётёй Мари композиции. Не шевелясь. Как будто и не дыша. Весь обратившись в слух. Сам Родион, к стыду своему, слушал музыку лишь из вежливости. Не обладая слухом вовсе, он не мог постичь её красоты и скучал в ожидании окончания «концерта», после которого неизменно следовал чай и долгие беседы, слушать которые было куда интереснее музыкальных этюдов...

Однажды за рояль по многочисленным просьбам сел и сам Алексей Васильевич. Оказалось, что он не только прекрасно играл, но и обладал замечательно красивым, бархатным голосом. Оценить исполнение Родя, впрочем, порядочно не мог, зато поразился теперь уже тому, как внимала романсу тётя Мари... Словно вся душа её переворачивалась в этот момент. Никто кроме Роди не заметил тогда этого, а он потом не раз вспоминал лицо тётки и смутно догадывался, отчего оно было таким.

Вскоре тётя Мари покинула имение, отправившись сестрой милосердия на Русско-Японскую войну. В Глинское она возвратилась лишь годы спустя и устроила здесь медицинский пункт для крестьян, работая в нём ежедневно сама. Так, с её помощью была разрешена ещё одна задача: налаживание медицинской помощи. Теперь людям не нужно было, кроме как в случаях тяжких недугов, требующих операций и нахождения в стационаре, ездить в отдалённую больницу.

Неудивительно, что пользующийся заслуженным авторитетом Николай Кириллович был избран предводителем уездного дворянства. Работы прибавилось. Теперь совсем мало оставалось времени у него на музыкальные вечера и прочие радости. Вечно он был погружён в свои заботы, никогда не оставаясь праздным. И в годы эти, вне дома проведённые, так и вспоминался: сосредоточенный, хмурый, сидящий в небольшом, немного темноватом кабинете с постукивающими старинными английскими часами с боем, за массивным тёмного дерева столом со множеством ящиков... Перед ним расходная книга, какие-то бумаги. И что-то пишет он, и нервно передёргивает плечами, случись кому-то отвлечь его. И морщится время от времени от редко покидающих его болей.

Иногда, впрочем, обычная отцовская суровость и собранность смягчалась и рассеивалась. В те редкие часы, когда он позволял себе отдых. Например, на охоте. Или за вечерней беседой и шахматной партией, которую приходил с ним разделить Алексей Васильевич.

Охоту отец любил всегда. Большой собачей, он держал в доме по пять-шесть собак, в обращении с которыми был куда нежнее, чем с людьми. С этими псами он верхом отправлялся в лес два-три раза в год. Сразу словно молодея, обретая юношескую удаль. Брал с собой и сыновей. Однажды уехали втроём далеко – ночевали в чистом поле, под открытым небом. И отец, преображённый вольным воздухом, на который вырвался от своих нескончаемых дел, рассказывал о своих кадетских и юнкерских годах. Когда бы всегда он был таким! Но, увы, весёлого, удалого охотника вновь сменял «помещик Костанжогло»...

Гораздо чаще отца вспоминалась мать. Полная противоположность мужу, она вся была – радость жизни. Лето её. В ней, матери четырёх детей, жило что-то детски-весёлое, лёгкое. Может, поэтому она так редко бранила детей, понимая их и живо откликаясь на различные придумки. Когда отец уезжал, Дом наполнялся весельем и безудержными играми. И никто не одёргивал, не требовал порядка, не подавлял чеканными командами. Отец был воплощённым порядком. Законом. Мать – любовью. Никогда ни на кого не повысила она голоса, ко всем была участлива и добра. И этой любовью укрощала она даже самые сильные вспышки гнева Николая Кирилловича. Спасая от него тех, на кого этот гнев был обращён, и успокаивая, утишая его самого. Мать с детства являлась для Роды образом миротворицы. И её огорчённое лицо было для детей куда более серьёзной укоризной и наставлением, нежели гневные тирады отца.

Мать... Вот, она идёт по весеннему саду, утопающему в пене нежно-розовых и белых яблоневых соцветий... На ней лёгкое белое платье и ажурная белая же шаль, словно сотканная из цветочных лепестков. А в руках её ветка сирени. Она задумчива и чему-то тихо улыбается. И столько ласки, столько высокой, чистой красоты в её образе, что четырёхлетний Родя подбегает к ней, обнимает её ноги, прижимается щекой к шёлковому подолу. И, вот, он уже на руках её, и она кружит его, говоря что-то и целуя...

И отчего счастье, словно хищник добычу, всегда подкарауливает беда? Та беда налетела неожиданно, всех больнее ударив отца. Забрав у него главную надежду. Любимого старшего сына...

Митя заболел неожиданно и, несмотря на старания врачей, угас в один год. В этот год он должен был по воле отца поступать в кадетский корпус. Теперь Родиону надлежало заменить его. Мать не хотела расставаться с единственным оставшимся сыном, но Николай Кириллович, почерневший от горя, но не потерявший стальной твёрдости характера, уже принял решение. А решение отца являлось неоспоримым, как приговор высшей инстанции.

Так, в 1904 году Родион не без горечи покинул родной Дом. Отец сам отвёз будущего кадета в Москву, где жил его младший брат Константин. Дядю Котю отец не жаловал за божественный, оторванный от почвы образ жизни, который тот вёл. Дядя был известен, как большой ценитель искусств и литератор, поэт, писавший под псевдонимом довольно неплохие вирши. Он был своим человеком среди московских и столичных писателей, заядлым театралом. Ходили слухи о его бурном романе с некой артисткой, что особенно возмущало отца, видевшего в этом позор семьи. Немногим меньше возмущала его страсть брата к азартным играм. И всё же, несмотря на размолвки, приезжая в Москву, Николай Кириллович останавливался в просторной квартире брата на Большой Спасской.

Впервые переступив порог этой квартиры, Родя был поражён её убранством. В квартире преобладал восточный стиль. Ковры, подушки, оттоманки, всевозможные орнаменты и разные затейливые безделицы. Отец морщился, сквозь зубы ругая дядю мотом и пустоплясом. Сам дядя, кажется, вполне искренне радовался гостям.

Несмотря на столь рассеянный образ жизни и слабый характер, Константин Кириллович был весьма милым человеком. Высокий, плотный, с приятно округлым, холёным лицом, обла-

чёрный в длинный до пола восточный халат, он излучал довольство и безмятежность. Был весел, радушен и хлебосолен. Гостей тотчас водворили в лучшую комнату, расторопный лакей был послан за угощениями, и вскоре стол уже ломился от яств, к которым Николай Кириллович едва притронулся. За обедом дядя Котя говорил, не умолкая. О новостях культурной жизни обеих столиц, о том, как давно мечтает навеститься в Глинское, о том, какова была погода этой зимой в Париже... Обо всём-то знал этот бонвиван. Со всеми-то был знаком. А только делать что-либо сам не желал и не умел, находя удовольствие в прожигании жизни.

За неделю отец показал Родю главные московские достопримечательности: Кремль, Третьяковскую галерею, Симонов и Новодевичий монастыри, Воробьёвы горы... Большой театр, балет в котором смотрели из ложи...

– Карсавина! Богиня! – восторженно говорил дядя, готовый в ближайшем антракте бежать с огромным букетом роз к знаменитой танцовщице, гастролировавшей в те дни в Москве.

А отец всё морщился. То ли от приступов ревматизма, то ли от неумеренности восторгов по адресу «какой-то артистки»...

Родя был едва в себе от нахлынувших впечатлений. Москва поразила его своей красотой, пестротой, величием, сочетавшимся с домашностью, с чем-то глубоко родным. Никогда не видел он столь людных улиц, такого количества церквей, такой разнообразной публики. И года не хватит, казалось, чтобы все чудеса перевидать в этом чудном городе!

А, меж тем, неделя, положенная на знакомство с городом, пролетела, и отец повёз Родю в Первый Московский кадетский корпус, где ему предстояло держать вступительные экзамены.

Корпус, основанный фаворитом императрицы Екатерины Великой Зоричем, располагался в Лефортово, в Головинском дворце, перед которым зеленела чудная Анненгофская роща, вскоре безжалостно уничтоженная обрушившимся на Москву ураганом.

В дверях новоприбывших приветствовал старый швейцар в красной, украшенной гербами livрее с многочисленными крестами и треуголке.

Отчего-то вдруг оробев, Родя вошёл следом за отцом в огромный, двухсветный вестибюль, в обе стороны из которого тянулись две широкие, мраморные лестницы, украшенные висевшими на стенах касками французских кирасир, захваченными в 1812 году. Пройдя в приёмную комнату, Родя стал с любопытством рассматривать писанные масляными красками портреты царей и других высокопоставленных лиц. Кроме них стены украшали белые, мраморные доски с именами бывших кадет, получивших высшее боевое отличие – Орден св. Георгия Победоносца.

Всё в корпусе было исполнено величия минувших славных веков. И это величие само по себе заставляло подобраться, оставив за порогом детское озорство.

Вступительный экзамен по Закону Божьему, арифметике, русскому, французскому и немецкому языкам не был сложен, но отец серьёзно беспокоился, зная недостаточную подготовку Родю, вечно отлынивавшего от занятий и предпочитавшего урокам игры с мальчишками. Сам же Родя относился к испытанию вполне беспечно, что ещё больше нервировало Николая Кирилловича. Однако же, всё разрешилось благополучно. До высоких баллов было, конечно, весьма далеко, но набранных всё же достало для поступления. Отец вздохнул с облегчением и впервые за прошедшее со смерти Мити время повеселел. Впереди был ещё целый месяц воли в родном Глинском, и в этот месяц Родя, не обращая внимания на родительский гнев, всецело отдавался играм и любимым романам, напрочь забыв о величественном корпусе. Отец, в конце концов, смирился:

– Ладно уж, тешься напоследок. В Корпусе-то тебя быстро порядку научат...

Пятнадцатого августа кадет Родя Аскольдов снова ступил в стены Корпуса, чтобы остаться в них на долгие семь лет. В первый же день он получил свою первую форму: мундир чёрного сукна с красным воротником и золотым галуном на нём, такого же сукна шинель

с красными петлицами и брюки, кожаный лакированный пояс с медной бляхой, на которой был изображен государственный орёл, окруженный солнечным сиянием, и фуражку с красным околышем и черным верхом. Надев полученную амуницию, Родя окончательно почувствовал, что начинается совсем новый этап его жизни, что беззаботное детство осталось в прошлом.

Первое время Родя чувствовал себя в Корпусе крайне неудобно. Если с такими неудобствами, как огромная холодная спальня на тридцать человек с жёсткой кроватью и тонким одеялом, он легко мирился (к физическим лишениям надо привыкать, чтобы быть таким, как любимые герои), то вечная муштра и строгая дисциплина угнетали его. Ведь даже в мелочах не оставляли никакой свободы: руки ночью и то требовали держать поверх одеяла! А ещё эта барабанная дробь или вой сигнальной трубы, беззастенчиво прерывавший сладкий сон... И ведь по команде этой нужно было молниеносно вскочить и успеть до второго сигнала умыться, одеться, начистить до блеска сапоги и пуговицы... За малейшую неряшливость следовало наказание в виде стояния под лампой во время «перемен». Сколько бесценных минут было проведено под этой ненавистной лампой!

Привыкшему к вольной сельской жизни мальчику нелегко было мириться с бессмысленным, как ему казалось вначале, диктатом. Он отличался превосходной физической подготовкой, хорошей усидчивостью, замечательной находчивостью, но полную дисциплинированность не смогли привить ему даже семь лет кадетства. Офицер-воспитатель усмехался в усы:

– Вам бы, Аскольдов, в партизанский отряд, а не в кадеты!

Так чем худо? Денис Давыдов тоже партизаном был. А от сухого регулярства какая польза? Мертвечина и только!

Качества, сердившие педагогов, помогли Роде снискать большую любовь и уважение товарищей. В Корпусе наибольшим уважением неизменно пользовались кадеты, отличавшиеся физической силой и ловкостью. Если силой кое-кто и мог превзойти кадета Аскольдова, то уж в ловкости он мог дать фору любому. Слабосильных и жаловавшихся в Корпусе презирали, открыто недолюбливали «зубрил», примерно налегающих на науки, щёголей, любимцев начальства. Самым большим преступлением считалось выдать товарища, донести. За такое уличённому устраивали «тёмного»: набрасывали сзади шинель, били и разбегались, оставшись неузнанными.

Зато обмануть преподавателя считалось изрядным удалством. Поэтому дерзость и независимость Роди также принесли ему почёт в кругу друзей. Правда, его слава первого озорника служила ему худую службу, так как добрую половину совершавшихся в Корпусе проделок немедленно приписывали ему. Зачастую Родя знал подлинных виновников, но выдать товарищей было никак нельзя. И во имя товарищества утекали новые и новые минуты под лампой, терялись отпуска.

К счастью, не всё время в Корпусе было отнято занятиями. Оставались ещё прогулки и свободное время. Гуляли в дворцовом парке, упирающемся в Язу, и прилегающим к дворцу большим плацам. Летом играли в лапту и городки, зимой катались на санках с высоких гор, построенных на берегу ближайшего пруда, ходили на лыжах, бегали на коньках.

А после прогулок желающие могли по выбору обучаться музыке и пенью, переплётному, столярному, токарному и другим ремёслам. Родя избрал ремесло столярное. Работа с деревом напоминала ему родное Глинское. К тому же выяснилось, что он обладает весьма недурными способностями резчика.

По субботам и в предпраздничные дни кадет, имевших родных или знакомых в городе, отпускали в отпуск. Родя отправлялся в эти дни либо к дяде Коте, либо вместе с другом Никитой Громушкиным – к его матушке Прасковье Касьяновне, жившей на знаменитой своими церквями Ивановской горке, аккуратно на стыке Петропавловского переулка и Яузского бульвара. Прасковья Касьяновна сама пекла кулебяку или расстегаи, покупала им разных сладостей: миндального печенья, фиников, винных ягод и пастилы, медовых пряников и конфет – и начи-

нался пир горой. Иногда просто отправлялись в кондитерскую, либо ехали на Воробьёвы горы, любимое место гуляний москвичей. Сюда приходили семьями со своими самоварами, закуской, удобно устраивались на траве и проводили по целому дню. Под горой слышались песни, играла гармоника, водились хороводы.

Прасковья же Касьяновна вела мальчиков к Крынкину, где круглый год подавалась свежая зелень и клубника, вызревавшая в специальных теплицах. А к тому – артишоки, дыни, арбузы... Всё это диво выращивалось здесь же, на другом берегу Москвы-реки, на Пышкинских огородах, расположенных на богатых пойменных землях. Хозяин в белой черкеске лично встречал гостей при входе, а с ним – половые в белых же поддевах. Сама ресторация представляла собой большой деревянный терем, неуловимо напоминавший Роде родной дом. С террасы открывался прекрасный вид, полюбоваться на который можно было сквозь подзорные трубы и бинокли. Весело было наблюдать за гуляньями внизу по склону. Среди деревьев мелькали маленькие яркие фигурки, взлетали на качелях, играли в горелки и прятки... Прасковья Касьяновна непременно и сама спускалась по склону в лес, где мальчики могли вдоволь нарезать. А ещё при ресторане держались катера и моторные лодки, на которых можно было переправиться на другой берег и Болотную площадь. Поездки к Крынкину особенно полюбились Роде и Никите.

Прасковья Касьяновна была очень набожна, её хорошо знали во многих московских монастырях и храмах, встречали, как родную. Однажды, на пасхальной неделе, поехали в Кремль и, помолившись в Успенском соборе, поднялись на звонницу Ивана Великого.

У Роди захватило дух. Москва лежала перед ним как на ладони – где-то там, внизу. Шумливая, разноцветная, хлебосольная и тёплая – словно кустодиевская купчиха в цветастом полупалке... А кругом струилась небесная синева, разбавленная рыхлым пухом облаков. И хотелось взмыть в неё, и всю землю оглядеть с этой высоты! И ноги не держали уже, и, казалось, ещё миг – и оторвутся они от земли!

А что за диво было – перезвон колоколов московских! В Глинском лишь колокола Успенского храма гудели, а тут – все сорок сороков переливались! Никита-то и ухом не вёл – ему вся эта лепота сызмальства родной и обыденной была, а Родя не уставал удивляться, забывая на это время о проказах. Именно Прасковья Касьяновна открыла ему ту Москву, которую он преданно полюбил, которая стала для него второй после Глинского родиной.

Совсем иными бывали дни, проведённые у дяди. Здесь тоже бывал накрыт замечательный обед, но сам Константин Кириллович был неизменно поглощён собой. Он то декламировал стихи свои, или чужие, то рассуждал о передвижниках и театре. И всё-то перескакивал с одного на другое так стремительно, что Родя терял нить его рассуждений. Несколько раз дядя, впрочем, возил его в театр и на выставки, кои с благословения Великого Князя Сергея Александровича, большого ценителя и покровителя искусств, проходили в им же учреждённом Историческом музее. Здесь Родя впервые увидел работы Поленова, Коровина, Левитана и многих других. При этом дядя сердито бранил генерал-губернатора, не считаясь с его вкладом в развитие культурной жизни Москвы. Дядя был большим либералом и сочувственно относился к любым антиправительственным выступлениям. Единственным человеком из царской фамилии, о ком он отзывался с уважением, был Великий Князь Константин Константинович:

– Замечательный решительно поэт, хотя и Романов!

Однажды к дяде пришли какие-то странные люди. О чём-то шептались с ним в коридоре. Затем один из них ушёл, оставив бумажный свёрток, который дядя поспешил спрятать. Другому он дал своё платье, деньги и какой-то адрес. Несмотря на малые лета, Родя догадался, что это – *революционеры*. Причём скрывающиеся от полиции. А дядя отправил одного из них в некое убежище и взял на хранение их бумаги. Вернее всего, прокламации. Любопытство терзало Родю. Впервые он видел живую настоящих революционеров, которых так неистово проклинал отец...

– Я надеюсь, ты понимаешь, что не должен рассказывать о том, что видел? – спросил дядя.

Ещё бы Роде не понимать! Никогда он доносчиком не был. За товарищей под лампой стоял, неужто родного дядю выдать? Доносить – бесчестье!

– Вот и молодец! Честь – превыше всего! – пафосно изрёк дядя Котя, потрепав его по плечу.

Через некоторое время недалеко от Кремля был взорван Великий Князь Сергей Александрович, незадолго до того сложивший с себя полномочия генерал-губернатора. Взрыв был слышен в стенах Корпуса. Строевая рота кадет несла почётный караул в Чудовом монастыре у гроба мученика. Рассказывали, что его жена, Великая Княгиня Елизавета, сама по кусочкам собирала его останки, прибежав на место трагедии. В храме она стояла, словно окаменев, пугающе бесслёзная. Опасались даже за её рассудок.

Весть об убийстве Великого Князя потрясла Родю. Великокняжескую чету он видел лишь однажды. Тонкий, до неестественности выпрямленный, гордо держащийся князь с худощавым, продолговатым и, как показалось Роде, страдальческим лицом, и воплощение подлинной женской красоты, из глубины души высвеченной – княгиня... Родя представил её на месте трагедии, и у него, не плакавшего даже в глубоком детстве от боли и обид, выступили слёзы.

А ещё зачем-то вспомнились дядины визитёры. И шевельнулось болезненное подозрение – а если они были связаны с убийцей?.. Всю неделю он ходил подавленный, притихший. Офицер-воспитатель даже осведомился, не болит ли у него что-нибудь.

Болела всего-навсего душа... Среди других кадет он был у гроба несчастного князя, от которого мало что осталось. И раз и навсегда возненавидел террористов и революционеров. Революция – бессмысленная жестокость. Кровь, разрушение и всегда – *преступление*. Так глубоко осознала детская душа, и это осознание с годами обратилось в твёрдое убеждение.

У дяди Коти Родя побывал ещё раз. Тогда он застал у Константина Кирилловича незнакомую женщину и, по его смущению, догадался, что это именно та, связи с которой не мог простить дяде отец. Женщина была необычайно хороша собой. Особенно восхитили Родю её густые рыжие локоны, кольцами спадавшие на плечи, покрытые тонкой зеленоватой туникой, в которую она была облачена.

– Это... Это Рива... – пробормотал дядя. И тотчас поправился: – Рива Балтер... Актриса...

Женщина присела в шутовском реверансе и весело улыбнулась:

– Рада познакомиться с вами, Родион Николаевич!

От неё приторно, слишком душно пахло парфюмом. А голос оказался глуховатым, грудным. Она осталась в тот день на обед. Шутила, смеялась, рассказывая какие-то истории из закулисной жизни. А ещё пила много шампанского и курила папиросы через изящный мундштук. Роде хотелось спросить дядю о том, что так нестерпимо жгло его душу последнее время. Неужели он, этот добродушный, весёлый, просвещённый человек поддерживает бессудные и жестокие расправы? Поддерживает убийц?.. Но при Риве задавать подобных вопросов он не мог. Напоследок она поцеловала Родю в щёку, и уже дорогой он оттирал платком след её помады. Эта женщина не понравилась ему. Не понравилась тем, как бесцеремонно и развязно вела себя. Не понравилась манерами, чуждыми миру, в котором вырос Родя. И почему-то стало жаль дядю, который в присутствии этой женщины выглядел не уверенным в себе, довольным жизнью бонвиваном, а её... пажом... Боящимся хозяйского окрика и млеющим от ласкового взгляда. Будто бы даже внешне делался он мельче. Большую власть имела над ним эта рыжая красавица...

Больше он не бывал у дяди, проводя выходные или у Прасковьи Касьяновны или у директора училища, на обед к которому приглашались все кадеты, которые не могли уехать к родным или друзьям.

Тянулись и тянулись бесконечные дни учёбы. Особенно тоскливо бывало по вечерам, когда перед глазами, как наяву, вставал Дом... И уютная мансарда... Хорошо ж было Гаврюшке, сыну Великого Князя Константина! Он, хоть и числился кадетом Московского корпуса, а продолжал себе жить в родном Мраморном дворце, приезжая лишь недели на две – сдавать экзамены.

Сам князь, Главный Начальник Военноучебных Заведений, бывал в стенах Корпуса по долгу службы. Именно он подарил ему бронзовый памятник молодой Императрицы Екатерины Великой, который был установлен в огромном Тронном зале, украшенном гербами всех губерний Российской Империи и царскими портретами в полный рост.

Тронный зал примыкал к помещению первой роты, в которой состояли кадеты младших классов. Он имел в длину шестьдесят метров без единой колонны и арки, а тяжёлый потолок его висел на цепях. Здесь проходили официальные приемы высокопоставленных лиц, парады и балы в день Корпусного праздника.

Корпусный праздник, отмечающийся двадцать четвёртого ноября был главным в году. На него привозили множество декоративных растений: деревья в кадках, цветы, цветочные гирлянды и прочее. Столовая, спальни, сам Тронный зал превращались в зимние сады. На праздник собирались юнкера Петербургских и Московских Военных училищ, приезжали генералы и офицеры, в разное время учившиеся в этих стенах. Накануне праздника на всенощной в корпусной церкви пел хор Чудова монастыря. Обедню в переполненной церкви служил архиерей. После в Тронном зале проходил церемониальный марш и награждение кадет. Во время обеда бывшим и нынешним Екатерининцам играл оркестр Александровского Военного училища. К столу каждому кадету подавали гуся, фрукты, бутылку мёда и конфеты.

А на следующий день устраивался корпусный бал, на который мечтали попасть многие барышни Первопрестольной. Зимний сад с беседками и гротами, полными сладостей и прохладительных напитков, музыка в исполнении оркестра Московских Гренадёр, промельки белых, воздушных платьев и раздуманных, прехорошеньких от юности и волнения девичьих лиц – эти вечера, переходившие в ночи, были незабываемы.

Именно здесь, в Тронном зале Родя танцевал свой первый настоящий танец. С очаровательной юной девушкой, в которую в тот момент чувствовал себя почти влюблённым, но которую забыл уже через несколько дней. Нечуткость к музыке не мешала ему неплохо танцевать – выручала природная ловкость и память тела.

Хоть так и не получив золотого галуна на погон, Родя всё же благополучно выдержал выпускной экзамен и, получив благословение Корпуса – серебряную, позолоченную, овальную иконку с выгравированными на её обратной стороне своим именем и надписью «от 1. Московского Императрицы Екатерины II кадетского корпуса), а по ранту – «Спаси и сохрани» – вместе с неразлучным другом Никитой отправился в Михайловское артиллерийское училище. Именно его они избрали для продолжения обучения.

Три года, проведённые в стенах Михайловского, не оставили по себе каких-либо ярких воспоминаний. Любимым предметом Роди здесь стала военная история. Для артиллериста этот предмет казался не столь важным, но было обстоятельство, по которому именно он вызывал особенное внимание юнкеров. Всё дело было в преподавателе, а им был молодой офицер, капитан Сергей Марков, яро ненавидевший формализм и регулярство и всемерно старавшийся пробудить в своих подопечных творческий подход к любой задаче, развить в будущих офицерах воображение и смекалку. Он говорил живо, увлечённо, неожиданно приводя примеры из повседневной жизни, задавая необычные вопросы и тем самым заставляя юнкеров не просто зубрить и исполнять команды, но *мыслить*.

В качестве своего курса по истории Марков издал «Записки по истории Русской армии. 1856-1891», в которых давал анализ проводившихся в России в XIX веке военных реформ. Немало места было уделено и русско-турецкой войне 1877-1878 гг. При этом капитан затра-

гивал не только военный анализ событий, но и политическую обстановку, а также причины, вызвавшие войну. Особое внимание он обращал на «самобытные национальные черты нашей армии и русского солдата, гибкие формы боевого порядка, развитие духа». Много-много пометок поставил Родя на полях этого учебника. Взгляды молодого преподавателя были ему в высшей степени близки. Ведь именно это-то и отталкивало его всё время – глупая муштра, лишённая творческого подхода! Да ни один великий полководец не был сухим педантом! Чем испокон веку брала русская армия? Боевым духом, находчивостью, внутренней (не внешне выстроенной) сплочённостью перед лицом врага. Благодаря находчивости и инициативности, малым числом одолевали многократно превосходящего врага, города брали! А находчивости-то вовсе не оставляло места регулярство, парализуя мысль.

Как-то не удержался Родя, высказал со времён кадетства засевшие в голове мысли. Марков слушал со вниманием, и тёмные, зоркие, таящие вспыхивающие в моменты возбуждения огоньки глаза его выражали согласие. Это придало Роде уверенности, и закончил он горячо и уверенно:

– Русская партизанская вольница всегда оказывалась сильнее любого врага! Они по науке воевали, по системе, а мы их системы опрокидывали!

Капитан чуть улыбнулся, постучал пальцами по столу:

– Партизанская вольница, не объединённая единой стратегией, единой волей, осуществляющей верховное руководство, превратится в табор, в ватаги образца Стеньки Разина и Емельки Пугачёва, которые могут превосходно действовать в локальных направлениях, но войны не выигрывают никогда. Для войны, Аскольдов, нужна стратегия. А стратегия – наука. Другое дело, что эта наука не имеет права стоять на месте, жить прошлым веком, а должна меняться вместе со временем и даже опережая его. Нужно непрерывное развитие творческой мысли: не только учёт опыта на победах и поражениях, но и проникновение в будущее, создание новых методов и способов в ведении боев и сражений. Стратегия и тактика не могут оставаться неизменными: новое оружие – новая тактика, но и новая тактика – новое оружие. Однако, большая доля правды в ваших словах есть. При пассивном выполнении задач и даже при полумерах невозможен решительный успех; чаще это приводит к неудаче и лишнему пролитию крови. Инициатива необходима как на верхах командования, так и на всех его ступенях, до самой низшей включительно, – вот, уже и сам капитан взволновался, оседлав любимого конька. Заходил взад-вперёд, энергично жестикулируя. На Японской войне он вдоволь насмотрелся на плоды регулярства, стоившие России поражения и всемирного позора. И с той поры во всех книгах своих и с преподавательских кафедр двух военных училищ и Николаевской академии старался донести до армейской верхушки элементарные истины, достучаться до отравленных тем самым регулярством душ армейской бюрократии и наполнить нужным содержанием души своих учеников. – На верхах командования – когда ставятся задания и проводятся с намерением заставить противника действовать в зависимости от принятых ими решений. На низах – когда инициативой начальников разрушаются планы и намерения противника на тактических участках боя, когда захватываются тактические рубежи, когда противник становится в менее удобное положение и когда это используется для развития успеха. Инициатива – это постановка задач, диктуемых обстановкой в каждый момент боя. Активность – это выполнение этих задач!

– Да ведь это и есть партизанство! – заметил Родя.

Марков остановился, заложил за спину руки:

– Что же, и хорошо! Активное партизанство всегда предпочтительнее пассивного регулярства! История нам с вами это показывает! Но отсюда не следует вывода, что всякая партизанская ватага предпочтительнее регулярной армии! Единое командование, единая стратегия наверху при достаточной степени гибкости на низших ступенях – вот, что требуется.

С той поры между Родей и капитаном Марковым сложились добрые отношения, которыми юнкер очень дорожил, видя в своём учителе образчик истинного Офицера, равняясь на него во всём.

Незадолго до выпуска Марков подозвал его к себе:

– Читаете ли вы газеты, Аскольдов?

– Никак нет. Времени не достаёт.

– Очень плохо. Офицер должен иметь широкий кругозор и знать, что происходит в мире.

Вот, что теперь происходит в мире?

Родя смутился. Стыдно было признаться, что мысли его были куда как далеки от мира, вращаясь все последние дни вокруг любимого Глинского, по которому стосковалась душа.

– Молчите? Так, вот, я вам скажу, Аскольдов. Мы стоим на пороге войны. И эта война начнётся в самое ближайшее время.

– Вы полагаете, что Германия всё же осмелится на нас напасть?

– Не сомневаюсь. Равно как не сомневаюсь, что вы в этом случае не станете искать покоя в тылу, а отправитесь искать свою синюю птицу на передовую. Другого счастья офицеру не дано, Аскольдов. Наше счастье не в шарканье по паркету, не в тепле семейного очага, а в подвиге! Так что думается мне, что с вами мы ещё свидимся. И не в душном классе нашего училища, а среди дыма и огня. До встречи на войне, господин подпоручик!

Через несколько дней подпоручик Аскольдов покинул стены училища и, на неделю завернув в Москву, отправился, наконец, в родные края, прихватив с собой Никиту и накупив гостинцев сёстрам и матери.

Коляска со скрипом повернула. С этого поворота начинались владения Аскольдовых. Вон, защебетала вдали берёзовая роща, а напротив неё небольшой сосновый лесок. А позади них – ещё невидимый – яблоневый сад, обнесённый старым забором! Каменная кладка в одном месте осыпалась, и через неё легко можно было перемахнуть и, пройдя по тропинке, оказаться прямо у крыльца отчего дома.

Родион покосился на дремлющего товарища, тряхнул за плечо возницу:

– А ну стой!

Мужик попридержал лошадей, остановившись аккурат на взгорье, внизу которого журчал ручеёк. Родион спрыгнул на землю и, как бывало когда-то в детстве, бегом сбежал с пригорка по свежей росистой траве, остановился у ручья. Нагнулся, зачерпнул в ладони ключевой воды, сделал несколько глотков – нет этой воды слаще! Омыл пыльное с дороги лицо. Махнул рукой ожидавшему вознице:

– Езжай без меня дальше! А я – напрямик!

И пошёл, пошёл размашисто, загребая ногами ещё не тронутую косой траву. И хотелось крикнуть на весь Божий мир, но и жаль было нарушать его соборную, святую тишину.

Родион расстегнул мундир, на несколько минут растянулся на траве, вбирая грудью силу земли. Правы были древние, считавшие Землю живым существом. Воистину даёт она силы! Укрепляет усталого, исцеляет больного... Припадали к ней былинные богатыри и, силой этой напитавшись, разили врага... Неужели и впрямь скоро снова придёт топтать русскую землю враг? Не хотелось теперь думать об этом.

Поднялся Родион, пошёл, посасывая сорванную травинку, в звенящее листвою божелесье – заповедную рощу, которой никогда не касался топор. Уже приблизившись к нему, остановился, заслышав плеск. Кто-то купался в омуте. Приблизился Родион и остановился, притаясь за деревьями. И грешно было подсматривать, а и сил не находилось тотчас уйти. Уж больно прекрасна была та, которую он увидел. Какая изумительная белизна и нежность кожи, какая точёная фигура, какая плавность и мягкость движений... А волосы! До самых колен косы раз-

мётаны! Платье на берегу оставила и в воду сошла. Юная совсем... Заплескалась, резвясь в прохладной водице.

Крык... Хрустнула предательски ветка под сапогом. И всполошилась прелестная купальщица, углядела его. Спряталась стремительно за камышами, закричала испуганно:

– Уходите! Уходите сейчас же!

А личико-то совсем детское у неё – успел разглядеть. Чистое, нежное.

– Простите! Я не знал, что здесь... кто-то есть! – откликнулся смущённо. – Не бойтесь, пожалуйста, я уже ухожу.

Он, действительно, ушёл, не желая пугать милую девушку. Уходя, споткнулся о торчавший из-под земли корень, чертыхнулся сердито.

И стыдно было, что, как мальчишка какой-то подглядел недолжное, но и весело оттого. И вдруг захотелось непременно вновь эту юную красавицу увидеть. Поговорить с нею. Для чего, зачем – не откликнулся рассудок, а непререкаемое желание влекло. Решил Родион, к знакомому пролomu в стене приближаясь, непременно на другое утро снова к омуту придти. Если судьба, так окажется там она, а нет – так и искать не стоит.

Ловко перемахнув через стену, он не спеша прошёл по тропинке, то и дело оглаживая ладонями стволы раскидистых яблонь, некоторые из которых помнил ещё совсем молоденькими и слабыми. А вот и Дом выглянул из-за раскидистых ветвей. Терем боярский с крылечком резным! Тихо-тихо ещё всё в нём – знать, не ждут гостей в такую рань. Душа исполнилась умиления – как при виде родного любимого человека, с которым долго не виделись. Вздохнув глубоко, Родион отвесил в сторону Дома земной поклон, всей ладонью коснувшись земли:

– Ну, здравствуй, ваше величество Дом!

Застучали копыта лошадей у парадных ворот. И вот уж заморгал Дом очами-ставнями! И раздался младшей сестрички Варюшки крик пронзительный:

– Приехали!!!

Глава 2. Аглая

Она ещё долго таилась, не решаясь выйти из камышовых зарослей, напряжённо вслушивалась в удаляющиеся шаги и, лишь когда они затихли, выбралась на берег и стала поспешно одеваться. И стыдно было, что он увидел её такой, какой разве что мужу одному видеть надлежало, а не удержалась – прыснула и рассмеялась звонко, вспомнив его смущённое:

– Простите! Я не знал, что здесь... кто-то есть!

И как поспешно уходить стал, споткнулся даже, точно сам испугался собственного озорства.

По мелькнувшему за деревьями мундиру угадала Аглая: это барин молодой приехал! И жаль было девичьему любопытству, что не успела рассмотреть, каков он стал из себя. С детства запомнился высокий, сильный мальчик в русых, непокорливых кудрях – необузданным озорством и отвагой своей деревенским шалопутам фору дававший. Хоть и барский сын, а барчуком никто не звал его. Какой уж там барчук! Разве что книжки почитывал да пересказывал разное. С мальчишками в ночное ходил да на дальние омуты, где, по бабкиным сказам, черти водились. Девчонок в такие походы никогда не брали – мужицкое дело. И Аля обижалась. Она-то бы не сомлела, если б и правдой бабкины рассказы оказались. Несахарная сиротская после смерти матушки доля многому научила...

Бегом добежала Аглая до деревни. Ещё только пробуждалась она. Ещё только дядька Захар погнал на поле понурое стадо. Прыснуло солнце – залило золотистым светом дорогу, над которой поникли, роняя беззвучные слёзы, серебристые вёты. У крайней избы на лавке сидела, опершись на клюку, древняя бабка Лукерья.

Никто доподлинно не знал, сколько ей годков. Она служила ещё бабке нынешнего барина. А отец её «воевал Бонапарта». Говаривали старожилы, будто в молодости Лукерья была очень хороша собой, и как будто бы даже роман был меж ней и старым барином. Но что могли помнить они, бывшие в те поры детьми или не родившиеся вовсе? Недолго была Лукерья замужем. Один сынок её сгинул в Крымскую войну, другой помер сам, не успев нажить семейства...

Оканчивала свои дни старуха одиноко. Сельские бабы помогали ей по хозяйству, а барыня назначила ежемесячный пенсией, которого Лукерье хватало с избытком. Ноги её уже слушались плохо, но едва занималась заря, она выходила из дому, садилась на лавку и смотрела слезящимися глазами на дорогу, словно ожидая кого-то. Время от времени заговаривала с прохожими, радуясь, если у кого-то находилось время посидеть подле неё и послушать её рассказы.

Вот и теперь, иссохшая, маленькая, она неподвижно сидела на своём месте и смотрела, смотрела...

Аглая подошла к ней, окликнула:

– Доброе утро, бабушка!

Старуха беззубо улыбнулась, протянула дрожащую руку:

– Ну-ка, зареница моя, приблизься, посиди со мной хоть недолго!

Аля послушно подошла и села рядом:

– Всё-то ты словно ждёшь кого-то, бабушка?

– Жду, милая. Гришу моего жду... Как ушёл он на ту распроклятую войну, так и жду...

Вот, по этой дороге уводили его в солдаты... А я следом шла, насмотреться на него пыталась... С той поры всякий день я на эту дорогу смотрю. И жду, что, вот, появится он. Я ведь ни весточки о нём не получила. Что с сыночком моим поделалось. Увели его от меня – только и видела... Иной раз помстится, словно он идёт. Встрепенусь вся – бежать бы навстречу! А оказывается, что это не он вовсе. А нынче я ещё и другую гостью жду... Доколе уж Господь

меня с земли-то не отпустит, не призовет в чертоги свои... Или уж слишком черна я для них... – Лукерья пожевала губами. – Опять тебя давеча мачеха бранила?

Всё-то знала старуха, что в деревне происходило. Всё-то видела и слышала, сидя до захода солнца у дороги. Вся-то жизнь, такая далёкая и чужая ей давно, текла мимо её усталого взора. Вот, и мачехину брань услышала... Да и чему удивиться? Зычный голос у Катерины Григорьевны – как повысит его, так на всю деревню слышать. А повышает она его – не приведи Бог часто. С той поры, как отец, десять лет перебив вдовцом, решил жениться вторично, жизнь Аглаи сильно переменилась. Точь-в-точь, как в сказках, в которых злые мачехи непременно измываются над беззащитными падчерицами.

Никогда раньше, несмотря на сиротство, не чувствовала себя Аля беззащитной. С отцом жили душа в душу, и сызмальства управлялась она по дому и со скотиной. А коли случалось с ребятнёй поиграть, так уж тут постоять за себя умела. А против мачехи – никак. Любил её отец. Да и двоих ребятешек родила она ему уже, и третьего ожидала. То-то утеха была родителю к старости. Словно вторая жизнь началась. Подобрался он, целыми днями работал, мечтая, как подросшие дети станут ему опорой, как унаследуют его трудами накопленное. Души не чаял в них. И уж конечно, в домашних склоках принимал сторону жены, а не Али, а чаще – просто отмалчивался:

– Ваше дело, бабье! А меня не путайте!

И жаль было огорчать его... Ведь столько лет один-одинешенек маялся после матушкиной смерти. Заслужил он позднее счастье своё. А только куда бы Аглае от этого счастья голову спрятать?

– Двум хозяйкам под одной крышей трудно ужиться, – задумчиво произнесла старуха, не дождавшись ответа. И добавила: – Замуж тебе надо, девонька. Так-то.

– Да за кого ж я пойду, бабушка?

– А разве ж не за кого?

Ох, ничего-то не укрывалось от старухиного глаза. Вроде глядит – как не видит. Глаза пеленой слёз затянута. А на самом деле – за всем следит.

Уже второй годок ходил за Аглаей Тёмка, кузнеца Антипа сын. По серьёзности и основательности нрава не так ходил, не для шалости, как Стёпка-гармонист за Анюткой, а замуж звал. Кивни ему только, и зараз бы сватов прислал, и хоть завтра под венец. Но не решалась Аля.

– Кузнец – человек важный. А Артёмушка – парень с головой. Ты бы за ним как за стеной каменной была, – словно мысли читала Лукерья.

– Так и мачеха хочет, чтобы я шла за него. От меня избавиться...

– А ты что же? Или не люб он тебе?

– Не знаю... – растерялась Аля. – Хороший он, добрый... А только как понять, бабушка, любовь ли это или так?

Старуха еле слышно рассмеялась:

– О таком, милая, не спрашивают. Когда она приходит, так никаких вопросов не бывает. Вертит она сердечком так и сяк, а ты и рвёшься супротив, а подчиняешься. Хозяйкой она тебе делается, а ты у ней крепостной бессловесной...

– Сегодня молодой барин приехал, – зачем-то сказала Аглия.

– Никак видела?

– Мельком... – смутилась Аля. – В роще...

– Красив ли?

– Не рассмотрела, бабушка.

– Старый барин хорош был собой... – вздохнула старуха. – Так хорош, что только воду с лица пить да любоваться... – она качнула головой, словно отгоняя призрачное воспоминание своей уже никому не памятной молодости. – Значит, не любишь...

– Кого? – не сразу поняла Аглия.

- Артёмушку. Тогда терпи, девонька. Много тебе терпеть придётся.
- Я к тебе, бабушка, жить перейду. Буду ходить за тобой. Не прогонишь?
- Я-то не прогоню, да, вот, только ты ко мне не перейдёшь.
- Почему?
- Батюшка твой огорчится, а ты его огорчать пожалеешь.

А верно ли, что огорчится? Может, только вздохнёт облегчённо – прекратятся в доме бесконечные ссоры. Да нет... Куда уж идти... Мачехе рожать скоро, и малыши ещё совсем крохи. Ведь нужно же и за ними следить, и за домом, и за скотиной... И об отце заботиться. Куда уж мачехе одной без Алиных умелых рук... Не дай Бог стрясётся что – не простила бы себе Аглая.

– Права ты, бабушка. Не могу я их одних оставить. Разве что поплакаться к тебе придеть буду...

Лукерья вдруг вздрогнула, всматриваясь в утекающую за горизонт дорогу:

– Как на Гришу моего похож...

По дороге шёл невысокий, худощавый человек с длинными до плеч волосами и чемоданом в руке.

– Только у Гриши узелок был махонький, а сапог не было...

– Да ведь это Серёжа! – воскликнула Аля, с удивлением узнав старшего брата, учившегося в московском Университете. Кинулась к нему опростетью, разом забыв о размолвках с мачехой и прочих горестях: – Серёжа! – и через миг уже висла у него на шее. А он что-то бормотал растерянно: то ли дивился, как похорошела сестра за этот год, то ли пытался объяснить свой столь неожиданный приезд. А, вернее, как бывало с ним всегда, когда он волновался, разом говорил о нескольких предметах, путаясь в словах и сбиваясь с мысли. Впрочем, какая важность была, что именно он говорил! Главное, что не забыл в Москве родной дом, что приехал!

Глава 3. Не от мира сего

Что такое боль, он узнал очень рано. Узнал, когда не стало матери. Но та боль, пережитая в далёком детстве, успела позабыться, и теперь эта, новая, постигалась с неведомой прежде остротой.

Никакая физическая, даже нетерпимая, самая сильная боль не может сравниться с болью души. Ни одна рана тела не терзает так, как рана душевная. А душу мало что ранит так глубоко и страшно, как предательство. Предательство близких. Хотя иных предательств и нет. Чужой предать не может. Только близкий. Кому веришь. Кого любишь. И один только стон остаётся тогда: за что? Зачем?

А, может, просто сам виноват... Просто негоден оказался к этой непонятной, беспощадной, бесчестной жизни? Негоден... С самого рождения... Когда бабка-повитуха сказала матери, что младенец слаб и нежилец. А он почему-то выжил. Только первые годы свои был так слаб и болезнен, что почти не ходил. Сверстники играли и резвились, а Серёжа мог лишь завидовать им. Он, и чувствуя себя лучше, не выходил к ним. Дети жестоки и не прощают слабости. Да к тому обладал он печальным умением набить себе шишку даже на самом ровном месте. И за что так природа тешилась?..

Тем не менее, уже в самом раннем возрасте Серёжа начал проявлять большие способности к учению. В то время, когда другие дети ещё едва ли способны сложить букву с буквой, он бойко читал и умел писать. Барыня Анна Евграфовна, бывшая крёстной Серёжи, узнав о его способностях, приняла в нём самое живое и деятельное участие.

Дни напролёт Серёжа проводил в господском доме, в библиотеке, в которой разрешалось ему брать любые книги. Анна Евграфовна самолично занималась с ним иностранными языками и музыкой. Материнская нежность её и забота действовали на болезненного мальчика, как солнечный луч на цветок. С её мягкого голоса он легко запоминал различные английские, французские, немецкие выражения, а так же многое другое, что с такой щедростью рассказывала она. А что за счастье было играть с нею в четыре руки! Когда она сидела рядом и ласково улыбалась... А под конец матерински целовала в лоб:

– Если б у моих детей была хоть десятая доля твоих способностей и прилежания!..

Пару раз даже сам барин изволил проэкзаменовать Серёжу, задав несколько вопросов из области истории и точных наук, и был удивлён, получив правильные ответы на все:

– И впрямь золотая голова! Родьке бы такую...

– Ты будешь учёным, – уверенно говорила Анна Евграфовна. – Может, новый Ломоносов из тебя вырастет. Только бы окрепнуть тебе маленько. Для наук тоже силы нужны. И немалые.

Её заботами он, действительно, окреп, оживился. Но так и оставался одинок, не умея найти общего языка со сверстниками и предпочитая их обществу учение. Он сам, без помощи крёстной, выучил итальянский язык. Сам, изучая том за томом, добрался до сочинений Гессе, Манна, Карлейля и, хотя не всегда понимал написанное, а всё-таки что-то выхватывал из него, складывая в памяти. Увидев у него как-то одну из подобных книг, барин только развёл руками:

– В твои годы, юноша, «Робинзона Крузо» впроу читать!

«Робинзона» он прочёл давно. Но, мало впечатлённый им, углубился в чтение Толстого, Тургенева и, наконец, Достоевского, чьи произведения потрясли его до глубины души, доводя до слёз. Анна Евграфовна даже опасалась, что столь тяжёлые книги могут дурно сказаться на нервах впечатлительного мальчика. Он и в самом деле не мог помногу читать Достоевского, Гюго, Диккенса и сродных им авторов, буквально болевая от слишком сильного погружения в горькую атмосферу их произведений.

Серёжа рос немногословным и замкнутым. Дичился чужих людей. Даже присутствие кого-то из детей крёстной стесняло его. Особенно – старшей дочери Ольги. Ольга очень походила характером на отца. Такая же строгая и сдержанная. Подчёркнуто взрослая. Она увлекалась живописью и часто уходила в сад на этюды, где просиживала часами, сосредоточенно выводя на бумаге избранные пейзажи. Иногда она делала карандашные наброски в альбоме. Садилась, где придётся, и быстро набрасывала эскизы. Однажды Ольга зашла в библиотеку и, заметив Серёжу, неожиданно велела:

– Сиди так и не двигайся!

Серёжа покорно замер, и барышня принялась за работу. Лицо её заливал румянец, она покусывала нижнюю губу, то и дело окидывала взглядом полководца на поле брани замершего перед ней «натурщика». Наконец, махнула рукой:

– Всё! Готово! – и показала рисунок, на котором Серёжа увидел хрупкого, задумчивого мальчика, склонившегося над книгой – себя самого.

– Нравится? – спросила Ольга, заметно довольная собственной работой.

Серёжа, всегда с трудом справлявшийся с волнением, пробормотал что-то мало разборчивое, но принятое за одобрение.

– Тогда дарю! Смотри не потеряй! – с этими словами барышня вырвала лист из альбома и протянула ему.

Рисунок Сергей хранил со всей бережностью, как реликвию. Самой же Ольгой он тайно любовался, когда она работала. В эти моменты её от природы не очень красивое лицо дышало вдохновением и становилось очаровательно. Он наблюдал за ней, укрывшись где-нибудь так, чтобы она, чего доброго, не заметила его. Отчего-то ему казалось, что если заметит, то непременно засмеёт, надумает себе что-нибудь этакое, расскажет барыне...

По счастью, увлечённая работой Ольга никогда не замечала его. Зато иногда оказывала честь, показывая свои лучшие работы. С одной стороны, Серёжа был счастлив тому, что она показывает их ему, интересуется мнением, а с другой – страшно боялся сказать что-нибудь невпопад. И снова сбивался от смущения, снова говорил невнятно. И напряжённо следил за выражением её лица: не омрачится ли? Не усмехнётся ли? Но она не смеялась. А слушала внимательно, и это ободряло. И, в конце концов, Серёжа научился преодолевать стеснительность и говорить с нею свободно и ровно. И, осознав это, мысленно поблагодарил её. За её терпеливость и чуткость. Позже, перед самой разлукой Ольга подарила ему свой автопортрет с дарственной надписью: «Первому и незаменимому критику моих работ...» Эту реликвию Сергей хранил ещё более ревностно, хотя свой портрет у юной художницы получился много хуже, нежели его...

Разлука пришла не вдруг. Ещё задолго прежде говорила крёстная:

– Вот, в возраст войдёшь – отправлю тебя в Москву, в Университет. С твоей золотой головкой ты многое сможешь сделать.

И учитель Надёжин, помогавший ему в освоении наук, то же твердил:

– С такой головой – хоть теперь в Университет! Первым бы учеником был!

Москва... Университет... И манили слова эти, но и страх брал. Как же? Одному? В чужом городе?

Золотая голова... Приятно было похвалу такую слышать. Да только это золото отдал бы он за ту беззаботную жизнь, какой жили его сверстники. Золото слишком тяжело для слабых плеч. Знания и мысли переполняли голову, и от этого не было ей, многострадальной, покоя. Терзали её то и дело боли. И никакие отвары и снадобья не могли утишить их.

К моменту вхождения в возраст Серёжа уже окончательно свыкся с мыслью о скором отъезде в Первопрестольную. На первых порах поехал с ним сам Алексей Васильевич Надёжин. Сказался, будто по делам и давненько не проводывал старых знакомых, но Сергей чувствовал, что учитель решил на эту поездку по расположению к нему. А, может, и барыня

попросила помочь. Хоть и не ребёнок он был, а по неопытности и впервые в Москве мог легко в неприятную историю попасть.

С собой Анна Евграфовна дала Сергею рекомендательное письмо к своей доброй приятельнице с тем, чтобы та помогла ему наняться в какой-нибудь дом репетитором по иностранным языкам, тремя из которых он успел овладеть в совершенстве.

Поначалу всё складывалось как нельзя более удачно. Экзамены Сергей выдержал блестяще. Не без помощи Надёжина нашёл и жилище: маленькую комнатку в квартире какой-то старой вдовы, кроме того сдававшей молодому художнику просторную гостиную, в которой тот жил и работал.

Художника звали Степан Антоныч Пряшников. Было ему чуть за двадцать, и весь онлучился здоровьем и жизнелюбием. Высокий, жилистый, он своей смуглостью и чернокудростью немного напоминал цыгана. Степан любил жизнь во всех её проявлениях. Отдавал дань хорошему вину и обильной пище, на которую, правда, далеко не всегда имел довольно средств. Не оставался равнодушным и к хорошеньким женщинам, немало которых бывало в его мастерской в качестве натурщиц. Любил он и хорошую шутку, и добрую песню. Страстный во всех своих проявлениях, он ненавидел лишь рутину и скуку, развеять которую знал массу вернейших способов.

Несмотря на совершенную противоположность характеров, Сергей неожиданно легко сошёлся с художником, сдружился с ним. Быть может, помогла открытость последнего. Его неподдельная искренность во всём. Распахнутость всему миру. От таких людей не ждёшь подвоха, удара в спину. Они могут в лицо наговорить разного сгоряча, но быстро остынут, и никогда не поставят подножку.

Поначалу Сергей жил на деньги, присылаемые из дома отцом, но вскоре ему повезло: удалось устроиться репетитором французского и английского языков при двух ленивых недорослях из благородного семейства. Недоросли, разумеется, не желали слушать робкого и мягкого учителя, совсем недавно бывшего столь же юным, сколь и они, но жалование их мамаша платила исправно. И за это можно было перетерпеть все неудобства, доставляемые сорванцами.

Жалование было небольшим. Видимо, у семейства Голубицких финансовые дела обстояли скверно, и потому они ухватились за возможность обучения детей за умеренную плату. Молодой студент, крестьянский сын не мог претендовать на большее. А его знания, согласно рекомендациям, нисколько не уступали знаниям более образованных и опытных преподавателей.

Всё шло хорошо целый год, пока из Феодосии, где она дотоле гостила у родни, не возвратилась старшая дочь Голубицких Лара... О ней Сергей знал лишь, что семнадцати лет она вышла замуж за какого-то офицера наперекор родительской воле, и что сам офицер через полгода после свадьбы трагически погиб.

Лара, однако же, не производила впечатления убитой горем вдовы, несколько месяцев назад лишившейся любимого супруга. Одетая по последней моде, изящная, насмешливая...

Она неожиданно вошла в комнату, где Сергей занимался с мальчиками, и, увидев её на пороге, он от неожиданности уронил книгу, покраснел, растерялся, пытаясь одновременно поднять её и приветствовать Ларису Евгеньевну. А она рассмеялась, обнажив свои ровные зубы. Позвала братьев:

– Бросайте вашу зубрёжку! Идите лучше посмотрите, что я вам привезла!

Мальчики молниеносно выскочили из комнаты, не обращая внимания на своего учителя.

Сергей почувствовал обидный укол. И сказал Ларе с укоризной:

– Зачем же вы это делаете?

– Что? – пожала плечами она.

– Зачем вы учите братьев такому отношению к занятиям? Они же дети, они ещё не могут понимать сами... Но вы же... Взрослая...

По губам Лары пробежала непонятная усмешка. Она прошла в комнату, бросила на стол свою огромную, тёмно-синюю шляпу, украшенную пышными лентами, расположилась в кресле и некоторое время с любопытством разглядывала стоящего перед ней Сергея.

– А сколько вам лет, господин учитель? – полюбопытствовала с иронией.

Сергей отвёл глаза. Конечно, сейчас эта спесивая юная барынька постарается поставить его на место. Показать своё мнимое превосходство. Она же – хозяйская дочь! А он – кто?

– Вы что, обиделись? – спросила она, словно перехватив его взгляд. – Не обижайтесь, пожалуйста. Я лишь хотела удивиться, как можно заниматься всеми этими скучными науками, когда вокруг, – широкий развод рук, – такая огромная, такая прекрасная жизнь! Целый мир! И как же можно сидеть над книгами, когда тебе двадцать, когда так много интересного и нового кругом! Считайте, что я вам выражаю восхищение! Заниматься науками вместо того, чтобы радоваться жизни, это подвиг!

– Нет, Лариса Евгеньевна, – отозвался Сергей. – Это нормальная жизнь человека, который в отличие от светских щёголей и щеголих не может себе позволить проводить жизнь в бездельи.

– А вы хотели бы?

– Нет, не хотел бы. Ведь это скучно.

– Вы полагаете, что и мне скучно?

– Я в этом уверен, – неожиданно для самого себя ответил Сергей.

Лара сняла тонкие, сетчатые перчатки, заметила:

– Станный вы человек. Жаль, что такой учитель достался моим братьям, а не мне. Хотя – ваше счастье.

– Отчего же?

– Оттого, что мои братья в сравнении со мной ангелы. А от меня вы, пожалуй, сбежали бы, милый странный человек.

Сергей немного смутился от странного её обращения. Ему хотелось, чтобы она скорее ушла вслед за братьями, но она не спешила. Размышляла о чём-то. Сергею подумалось, что Степан, вероятно, был бы счастлив написать её портрет. Что-то было необычное, неуловимо влекущее в её лице. Насмешливом и одновременно таящем какую-то печаль, временами тенью прорывающуюся сквозь маску весёлости.

– Зачем же вы всё стоите? Садитесь рядом... Вы спиной к окну стоите, и мне вашего лица не видно.

– Зачем вам, Лариса Евгеньевна, моё лицо видеть? Оно не столь привлекательно, сколь ваше.

– О! Вы, оказывается, умеете говорить комплименты! – Лара встала и, слегка покачиваясь, будто танцуя, приблизилась к Сергею. – Что же, тогда я подойду к вам. Нет, всё-таки жаль, что я уже выросла из лет моих братьев! Кто знает, может, вам бы удалось научить меня чему-то такому, отчего моя жизнь была бы иной.

– Вряд ли я смог бы научить вас чему-то жизненному... Я слишком мало знаю жизнь сам.

– Жизнь – единственная наука, которую необязательно знать, чтобы научить... Вы сказали, что уверены в том, что мне скучно. Вы угадали. Мне смертельно скучно! Если бы у меня были деньги, то я бы уехала куда-нибудь! В другую страну, потом в третью, в четвёртую... Стран на земле много, и они бы дали необходимое разнообразие. Но мой муж ничего не оставил мне, кроме карточных долгов... – Лара хмыкнула. – Что вы так смотрите? Ищите во мне горя по утраченному мужу? Не ищите... Знаете, мне был очень противен родительский дом. Просто потому, что за семнадцать лет он мне опостылел. А ещё мне был страшно противен старый индюк, которому мой милый папочка меня просватал, польстившись на его миллионы.

У меня был выбор. Сбежать с моим красавцем-гусаром или сбежать с театральной труппой... Я выбрала первое. Спросите, почему?

– Не спрошу.

– Вам не интересно?

– Я не понимаю, зачем вы это рассказываете мне.

– Считайте, что у меня сегодня такая блажь. Так вот, театр казался мне слишком мал и тесен. Жизнь неизмеримо больше! В ней гораздо больше ролей можно сыграть!

– К чему играть что-то?

– Потому что иначе скучно! Ах, Боже мой, как скучно! – Лара взмахнула руками. – Вдобавок театр мой наречённый ещё простил бы мне, но побега с мужчиной...

– Значит, вы не любили его?

– Кого?

– Мужа...

– Я была увлечена... Он был настойчив, горяч... Я ведь не предполагала, что уже через месяц такая же настойчивость и горячность будет обращена к другим. И эти другие также будут полагать себя единственными. Впрочем, я ни о чём не жалею. Это было... забавное приключение. Которое дало мне независимость.

Нет, она не просто скучала. А больше. Где-то в глубине души очень несчастлива была. Только сама себе в том признаться боялась. Сергею стало жаль Лару. Ему представилось, что своего гусара она, в самом деле, любила, потому и бежала с ним. А он посмеялся над этой девичьей любовью, презрел её, оскорбил, растоптал, унизил. И чтобы боли этой не признать, она, гордая, пытается себя представить такой, какой быть не может. Играет роль в театре под названием Жизнь.

– А вы всё молчите... – теперь уже она стояла спиной к окну. – Вы всегда столь немногословны?

– Всегда... – отрывисто отозвался Сергей.

– Я скажу мальчикам, чтобы они были внимательны к вашим урокам... Я сама буду следить за ними. При мне они не посмеют вести себя недолжным образом.

Она сдержала слово и с того дня приходила на каждый урок, щедро раздавая подзатыльники маленьким лоботрясам, которые вскоре приучились вести себя прилежно. Время от времени Сергей встречался с Ларой глазами и всё отчётливее понимал, что эта женщина начинает притягивать его, завораживать. Ему хотелось говорить с нею вновь, но она не оставалась с ним наедине... Зато наезжали к ней молодые щёголи, и с ними она пила чай в гостиной, либо уезжала куда-то. Смеясь, благосклонно принимая их ухаживания. Это болезненно уязвляло Сергея. И он втайне тосковал и уже жалел, что попал в этот дом.

Но однажды зимой в квартире раздался звонок... И хозяйка сообщила изумлённому Сергею, что его спрашивает молодая дама.

Предстал перед ней – худо и наспех одетый, едва пригладив волосы, взволнованный неожиданным её визитом. Смущённо провёл в комнату:

– Вы простите великодушно... Не прибрано... А я сейчас... чаю...

– Нет-нет, не стоит! – остановила его Лара, присаживаясь на край стула и озирая убогое жилище. Румяная от мороза, в алом полушубке, отороченном мехом, в шапочке навроде кубанки, повязанной поверх пуховым платком – она была ещё прелестнее обычного! – Что же вы не поможете мне шубу снять? – а сама уже платочек развязывала.

Бросился к ней, извиняясь за нерасторопность. Она рассмеялась звонко, как бы невзначай коснувшись его плеча.

– Удивлены?

– Удивлён, – честно признался Сергей.

– А я, вот, вспомнила, что, рассказав вам про себя так много, вовсе не поинтересовалась вашей жизнью. Может быть, вы расскажете мне? Про себя? Вы странный человек, мне хочется узнать о вас больше...

Почему-то эти слова задели его.

– Я, Лариса Евгеньевна, не причудливый зверь, с которым иногда забавно возиться от скуки...

Она посмотрела на него удивлённо, взмахнула длинными ресницами:

– Опять обиделись? И что за манера! А я-то думала, вы мне обрадуетесь...

И вздохнула. И сразу Сергей себя виноватым почувствовал. Он ведь, и в самом деле, рад был ей. Как виденью небесному рад...

– Простите... Да мне, признаться, нечего о себе рассказывать. Я занимался тем, что вы так презираете: науками. Перед вами всего-навсего книжный червь.

– Неужели даже книги вы читали – только скучные?

– Отчего же? Я читал и романы. И стихи.

– Стихи? Стихи я люблю. Мы с Жоржем и Кларой часто ездим на поэтические вечера... Сейчас так много прекрасных поэтов! Бальмонт, Брюсов, Блок... И их стихи... Так необычно! Так будоражит кровь!

– Стихи современных поэтов будоражат низменное в человеке. Поэзия – язык вышних. И обращён он может быть только к душе. А всё прочее кощунство... А к душе модные поэты не обращаются. Только к животному инстинкту.

– Инстинкты естественны.

– Возможно. Но слепо подчиняясь им, подменяя ими то высокое, что ещё сохранилось в душах, человек унижает себя, низводит до зверя. Поэзия – язык небес. И нельзя низводить его на грешную землю.

– В следующий раз поедете со мной на поэтический вечер... Выскажетесь там! Думаю, у вас найдётся немало оппонентов.

– Их мнение мне безразлично, и говорить перед ними мне не о чем.

– А передо мной – есть, о чём?

– Перед вами – да.

– Значит, я вам безразлична?

Сергей промолчал. Зачем эта женщина пришла? Посмеяться? Развеять скуку живой игрушкой? Только душу выматывает...

– Выходит, вы хорошо знаете современную поэзию?

– Я, вообще, достаточно неплохо знаю литературу.

– И она вам не нравится?

– Увы.

– А что же вам нравится? Я хочу, чтобы вы мне прочли! Прочтите самое любимое. Поэзию небес прочтите!

И он прочёл, на удивление не забыв и не спутав строк:

– Не плоть, а дух растлился в наши дни,

И человек отчаянно тоскует...

Он к свету рвется из ночной тени

И, свет обретши, ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушен,

Невыносимое он днесь выносит...

И сознает свою погибель он,

И жаждет веры... но о ней не просит...

Не скажет век, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:
«Впусти меня!– Я верю, боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..¹

Лара помолчала, затем поднялась и, подойдя к Сергею, вновь коснулась его плеча, про-
изнесла тихо:

– Вы правы... Это... лучше... выше...

– Но вы опять поедете в салон, где читают стихи, не являющиеся поэзией?

– Поеду, конечно.

– Зачем?

– Потому что там весело... – Лара пожала плечами и снова села на стул. – А про себя так
и не рассказали... Неужели в вашей жизни не было ничего, о чём бы стоило вспомнить?

– Вспомнить – возможно. Но рассказать... То, что дорого мне, вряд ли будет вами сочтено
весёлым и интересным.

– А были ли вы влюблены, господин учитель?

– Да... был... – не сразу ответил Сергей.

– Кто же она была?

– Загадка, которую я не могу постичь...

В этом миг дверь отворилась, и на пороге возник взъёрошенный, перепачканный крас-
ками Степан. Увидев Лару, он отвесил ей низкий поклон:

– Прошу покорнейше извинить! Я не знал, что мой друг не один!

Сергей представил Пряшникова и Лару друг другу. Раскланявшись ещё раз, Степан
лукаво спросил:

– А не позволит ли божественная Лара запечатлеть свой неземной облик на холсте?

– С удовольствием... Но только как-нибудь в другой раз. Теперь мне уже пора.

И исчезла гостя негаданная. Только шлейф тонких, чуть терпковатых духов остался
напоминанием, что она не во сне приходила под этот кров. Хозяйка покачала вслед головой:

– Экая барынька! Соболя-то какие, соболя!

– Прости, брат, что помешал... – извинился Степан. – Это что, она, да? Дочка хозяйская?

– Да, это Лара, – отозвался Сергей, невольно проводя рукой по спинке стула, о которую
только что опиралась она.

– Хороша бестия, – кивнул Пряшников, раскуривая трубку. – Только послушай друже-
ского совета: держись от неё подальше.

Сергей вспыхнул. Столь бесцеремонное вторжение в его личную жизнь показалось почти
оскорбительным. Бросил раздражённо:

– Я, кажется, не спрашивал твоих советов!

Степан усмехнулся:

– Да не кипятись, горячка. Я ж не в обиду тебе. Знаю, что говорю. Я-то их брата повидал!

– Ты ничего о ней не знаешь!

– Ты прав, – спокойно кивнул Пряшников. – Зато тебя я знаю.

– Вот как?

– Послушай, ты, конечно, пошлешь меня ко всем чертям с моими советами, я понимаю.
Но всё-таки послушай, что я тебе скажу. Послушай спокойно и не оскорбляйся. Ты, Серёжа,
мне друг, а потому не предупредить тебя я не могу.

Сергей почувствовал усталость от волнения и, присев на край постели, приготовился
слушать. Степан поскрёб курчавую бородку:

– Серёжа, такие женщины, как твоя Лара, могут быть прекрасны и замечательны, но они не созданы для тихой домашней жизни. Тебе нужна женщина, которая бы любила тебя и жалела, заботилась бы о тебе, создавала уют в твоём доме, растила ваших детей. Жена-мать. Жена-друг. Которой крылья даны не для того, чтобы парить всю жизнь по свету в поисках самой себя, а чтобы беречь очаг и укрывать ими близких. Понимаешь ли, что я тебе говорю? А Лара никогда не станет такой. Изведёшься ты рядом с такой женщиной. Заработаешь себе нервную горячку или что-нибудь подобное. Поэтому послушайся доброго совета, не гляди в её сторону.

– А ты?

– Что – я?

– Тебе бы такая женщина подошла?

– Мне, как и любому нормальному мужчине, нужна жена, а не райская птица. Но для меня все эти Лары не опасны.

– Почему же так?

– Потому что меня им не окрутить, – Степан самодовольно улыбнулся. – Сходить с ума по женщине – это не для меня. Женщину можно боготворить, но – рассудок свой я оставляю при себе. Пригодится! А, вот, ты не выдержишь. Зачарует тебя эта райская пташка своим голоском. Помнишь, что ли, как оно в сказках наших? Добро, коли живой от таких птах бедолага уходит. Испелит она тебя, дотла сожжёт.

Сергей тряхнул головой:

– Вздор какой-то! С чего ты, вообще, взял, что я питаю какие-то чувства к Ларе! Нас слишком много разделяет с ней! И всё это... вздор... вздор! И не говори со мной больше об этом!

– Воля твоя, – пожал плечами Пряшников.

А на другой день он видел её вновь...

Был канун Рождества, и вся Москва принарядилась к празднику, бойко шла праздничная торговля, пахло апельсинами, хвоей и ещё чем-то душистым, веселящим душу. Сновал народ, тащил коробки и свёртки, кульки с конфетами, пастилами, заливными орехами и прочими сладостями. Проносились, взметая снежную пыль, сани разных фасонов... Светились праздничные витрины, к которым липли дети, любясь на выставленные в них игрушки... А ещё мелькали кругом – разряженные, как генералы на параде, ели...

Рождество! В радостный этот праздник на Сергея отчего-то находила тоска. Так повелось с детства. В праздничные дни он особенно горько ощущал своё одиночество и неопределённость своего положения. Проводивший большую часть время в барском доме, воспитанный барыней-крёстной, он чувствовал себя чужаком в родном доме, рядом с родным отцом. И в то же время в барском доме он, при всей доброте к нему барыни, оставался всё же – сыном простого мужика, сиротой, милостиво привеченным господами. Эта грань не могла исчезнуть. И хотя ни крёстная, ни даже барин никогда никоим образом не напоминали ему о его месте, он не забывал его. А в праздники ощущал особенно резко. Праздник господа отмечали семьёй. А Серёжа не был членом её. Ему дарили прекрасный, с любовью выбранный подарок, его, как и других крестьянских ребят, приглашали на детский утренник, но на господский праздник допущен он не бывал. А в родном доме было ему нестерпимо тоскливо...

Лишь однажды, в последний год его жизни в Глинском, барыня нарушила обычай и пригласила Серёжу на праздник, на котором были также учитель Надёжин с женой. И это было самое счастливое Рождество. И за него Сергей был благодарен крёстной не меньше, чем за все о нём заботы. Правда, даже толком поужинать за праздничным столом не удалось. Слишком стеснялся Серёжа, что манеры его не таковы, как принято в благородном обществе. Слишком боялся по вечному «везению» своему что-нибудь обронить, разбить. Но барыня смотрела лас-

ково, и Ольга – тоже. И сестра крёстной, Марья Евграфовна. И от этих трёх взглядов сердечных, ободряющих – так светло и хорошо было на сердце...

А на это Рождество Сергей был приглашён к своему университетскому наставнику, профессору Кромиади и его дочери Лидии. Подобный визит требовал подарка, и в поисках одного он отправился блуждать по улицам Первопрестольной, несмотря на мороз и нараставшую метель. К сумеркам, продрогнув до костей в худой своей шубе, Сергей всё-таки подыскал не очень дорогую, но весьма симпатичную музыкальную шкатулку, играющую «Оду к радости», «Коль славен» и «Лучинушку» для Лидии Аристарховны.

Он уже возвращался домой, когда увидел Лару. Вернее не её, а единственный только промельк в снежном безумии. Вернее, не столько увидел, а услышал. Голос её. Смех залиvistый. Как виденье пронеслось. Тройка коней, лёгкие, быстрые сани, а в них – она... И двое с нею. Один – военный... Обнимал её за плечи, склонялся к ней... А она – смеялась! Как-то дурно смеялась...

И кольнуло болезненно под самое сердце. Остановился в оцепенении, глядя вслед тройке, и едва не выронил шкатулку. Ничего-то ещё не было между ним и этой женщиной, а уже терзала она его, мытарилась безвинно душу. И не то от ветра, не то от горечи набежала пелена на глаза.

Следующий вечер, проведённый в обществе Аристарха Платоновича и его дочери, немного рассеял его тоску, отвлек от больного и томящего. Снова окутало той ласковой теплотой, как на минувшее Рождество в Глинском. От неспешного говора старого профессора, от участливого взора его дочери. Лидии едва исполнилось восемнадцать, но уже была в ней несвойственная этим летам основательность, серьёзность, рассудительность. Всполошилась, едва он порог переступил:

– Да что это за шуба на вас? Ведь она же совсем-совсем холодная!

И не было в этом возгласе снисходительности богатства к бедности, а одно лишь живое до испуга беспокойство:

– Вы же простудитесь! Никак нельзя в такой шубе!

И уже несла откуда-то – другую. Ношеную, но ещё весьма приличную и, главное, тёплую:

– Вот, носите, пока не справите новой! Это кузена Николая. Он давно в Петербурге живёт, а вещи кое-какие бросил у нас.

У других подобное требование могло бы выйти унижительным, но Лидия Аристарховна была исполнена такой горячей заботой, таким негодованием на холодную шубу гостя, что обидеться было невозможно. Всё же Сергей стал отнекиваться, уверяя, что ему вовсе не холодно. Тогда старый профессор засмеялся и махнул рукой:

– Берите, Сергей Игнатъич, берите. Не то она на вас эту шубу, пожалуй, силой наденет, либо за вами следом пойдёт вовсе без шубы, пока не убедит. Если ей что в голову втемяшилось, так уж сражаться бесполезно.

А потом весь вечер хлопотала Лидия, как бы получше угостить отца и гостя. Сама она окончила Алфёровскую гимназию и курсы стенографисток, работала, прекрасно разбиралась в литературе, благодаря филологу-отцу. При этом в ней не было ничего от эмансипе, тех жутких девиц, словно нарочно уродующих свой облик и бравирующих грубостью, которые с важным видом ходили на новомодные курсы и бредили революцией. Зато был уют. И теплота, сочетавшаяся с решительностью и твёрдостью. Может быть, немного не доставало мягкости и застенчивости, столь идущих юным девушкам...

На зимние праздники Сергей был предоставлен себе. Голубицкие вместе с детьми отбыли на три недели за границу и возвратились лишь к концу января. Через несколько дней Сергей навестил своих подопечных. Его встретила Лара, удивившая разительной переменной своего облика. В это день она была одета в простенькое серовато-зелёное платьице, личико её не тро-

нуто было румянами и помадами, а волосы убраны просто и безыскусно. Совсем девочка ещё! – поразился Сергей. А в глазах – обида. И тоже – как будто детская.

– Почему вы не приходили всё это время? Ведь я вас ждала...

Как огнём полыхнуло в груди от этих слов. Она – ждала!..

– Я присылал открытку... Поздравительную...

– А я ждала вас, – повторила Лара.

– Для чего вы ждали меня, Лариса Евгеньевна? Разве у вас мало друзей, с которыми вы могли весело провести это время?

– Они не друзья.

– А кто же?

– Так... – Лара неопределённо повела рукой. – Прохожие, провожатые... *Случайные...*

– Так зачем же вы ждали меня?

– Наверное, для того, чтобы продолжить наш спор о поэзии, – грустно откликнулась

Лара. – Что вы делали всё это время, милый странный человек?

– Я... читал... – неуверенно ответил Сергей.

– Расскажите?

– О чём?

– О том, что читали? Я сама не люблю читать. А слушать – люблю...

– Расскажу, если прикажете. Но после урока...

– Какой же вы скучный! – взмахнула руками Лара. – Что же, ступайте к моим братьям. А я сегодня не расположена присутствовать на уроке.

Сергею показалось, что он невольно обидел Лару. Стало совестно, но он не знал, как исправить положение. А она – ушла...

После урока он неуверенно отправился к её комнате. Дверь в неё была приоткрыта, и Сергей увидел Лару, разговаривающую с неким пожилым господином. Последний ходил вокруг неё, что-то страстно говорил, целовал её руки выше запястий... А она не противилась, принимала назойливые ухаживания с выражением снисходительным, но, как показалось Сергею, почти брезгливым. Он быстро отошёл от двери, но Лара успела заметить его. Нагнала уже в гостиной и, желая удержать, порывисто схватила за руку. От прикосновений её пальцев к своей ладони Сергей вздрогнул, обернулся, спросил страдальчески:

– Что вам от меня нужно, Лариса Евгеньевна?

– Почему вы хотели сейчас сбежать от меня? Из-за этого старикашки? Да? Да?

– Я видел, как он целовал вас.

– Неужели? И что же?

– Мне кажется, Лариса Евгеньевна, у вас слишком много друзей, и я буду лишним в их числе.

– Гордость? – Лара усмехнулась. – С чего бы вдруг? Если угодно вам будет знать, этот человек сейчас делал мне предложение!

– Вас можно поздравить?

– У него в одной Москве шесть домов. А ежегодный доход...

– Зачем мне знать его доход?

Лицо Лары исказилось, она, наконец, отпустила руку Сергея:

– Мой дражайший папочка банкрот. Нет, конечно, маман с мальчиками не пойдёт с протянутой рукой по миру... Но, скорее всего, им придётся уехать в деревню. Это в Могилёвской губернии. Грязь. Нищета. Бессмысленное и серое существование. Вы представляете меня в таком месте?

– По-моему, это не ночлежка на Хитровом рынке.

– Да! Это несколько лучше! – Лара разволновалась и готова была заплакать. – Только я не хочу там жить. Я буду жить в Москве. Или в Петербурге. И неважно, каким образом это

устроится! Пусть бы даже с этим старым прохвостом... С ним мне никто и ничто не будет страшно. И ни о чём не надо будет думать. Неужели вы не понимаете?

– Отчего же. Я всё понимаю. Могу ли я идти?

– Ничего вы не понимаете... Ну, что, что я должна сделать, по-вашему? Чтобы вы не смотрели на меня так?

– Какое вам дело до моих взглядов? Я ведь не имею шести домов... Я и гроша-то за душой не имею.

Лара на мгновение поникла, но быстро распрямилась и, подойдя вплотную, провела рукой по его лицу:

– Ну, зачем вы такой? – спросила одними губами и поспешно вышла, оставив Сергея в полной растерянности.

Миновал ещё месяц. Близился Великий Пост. Москва жадно и размашисто догуливала Святки. Вернувшись вечером из Университета, Сергей замер на пороге, не веря своим ушам. Из мастерской Пряшникова доносился голос Лары...

Она сидела перед Степаном в расшитом узорными орнаментами в форме цветов и птиц гранатовом платье, подол которого спереди был чуть приподнят, что позволяло созерцать стройные ножки в изящных сапожках. Пряшников, закусив губу, яростно чиркал карандашом по картону, то и дело поглядывая на расположившуюся на его тахте гостью.

Сергей нерешительно переступил порог и в то же мгновение встретился взглядом с её глазами. Она не двинулась, но всем чувством подалась навстречу:

– Здравствуйте, господин учитель!

– Здравствуйте, Лариса Евгеньевна. Не ожидал вас...

– Я ведь обещала позировать Степану Антонычу.

– Ах, да. В самом деле...

Сергей всё силился понять, что за странную игру ведёт с ним эта женщина. То поманит вдруг, то оттолкнёт, ударит больно... Прав был Пряшников: держаться бы подальше от неё! Да мочи нет. Приворожила птаха райская. Вынимает душу... Как кошка с мышкой играет. Истерзать норовит...

После сеанса уже на пороге она сказала:

– Родители с братьями уезжают на несколько дней в Петербург. У дедушки юбилей...

– А вы?

– А я не люблю юбилеев и семейных собраний. Я вас очень прошу быть у меня завтра вечером. Будете? Пожалуйста, это ведь просьба моя.

И как было отказать? Не осмелился даже спросить, для чего зовёт его. Кивнул молча.

– Я вас буду очень ждать...

На другой вечер он был у неё. Сразу поразило, что не только родных её не было дома, но и слуг тоже. Отпустила их на этот вечер. А сама взволнована была. Будто бы в лихорадке даже. А одета вновь не как обычно. Платьишко белое, придающее ей девичью нежность, чистоту. Локоны тяжёлые сзади подобраны, шейка стройная обнажена. И лицо опять чистое. Свежее. И почему-то жалко её стало. Подумалось, что такая она и есть: чистая, душой невинная, несчастная... А всё прочее – наносное. От отчаяния и обиды. Как наряды пышные – нацепленное сверх подлинного.

И отважился руку поданную не пожать, как обычно, а поцеловать. А она вдруг наклонилась порывисто и уткнулась лицом в его волосы, и в ответ на удивлённый взгляд обеими ладонями провела по лицу:

– Необыкновенный вы... Никогда мне дела не было, кто и как судит обо мне. А от вашего осуждения так обидно и больно стало! Подумала тогда, это всё оттого, что он жизни не знает. Не может понять...

– Как я смею вас судить, Лариса Евгеньевна? Никогда! – Сергей уже готов был сам каяться перед ней коленопреклоненно, не знал, что говорить, как оправдаться и чем утешить её. – Я вашим рабом быть готов...

Но и царапнуло снова недоверчиво. Не смеётся ли и теперь? Не играет ли? Робел перед нею... А она никла к его плечу, касалась душистой ладонью волос, целовала:

– Вам – и рабом... Милый странный человек, так вы ничего и не поняли...

Закружил, закружил, подобно метели февральской, вечер этот. И безумная женщина с сияющим взглядом тёмных глаз. И робел прикоснуться к ней, и не мог чарам её противостоять. Да и не хотел вовсе. Хоть и стыдно признаться, а в мыслях, в ночных метаниях бессонных, в бредовых полуснах – уже был с нею. И распалало желание грудь. Жаром жгло который месяц. А теперь неудержимо влекла она к себе, лишая разума, вместо которого говорила теперь одна только страсть.

Утром Сергей проснулся с ощущением полного, всеобъемлющего счастья и чуда. И на миг испугался, похолодел: да не пригрезилось ли? Но нет. Лара спала рядом. Прильнув щекой к его плечу, едва прикрытая длинными, разметавшимися прядями шелковистых, каштановых волос, которых он тотчас коснулся губами, вдохнув их пряный аромат.

А за окном занимался новый день. Солнечный. Морозный. Хрусткий. Прекрасный день! День, в который можно обратить реки вспять и воспарить до самых небес! И Бог с ним, с Университетом! Для занятий довольно будет других дней, а пока надо успеть допить счастье это, не обронив ни единой драгоценной капли!

Утром необычайно возбуждённая Лара пожелала ехать кататься. Куда? Да не всё ли равно! По Москве! Арбат, Поварская, Пречистенка, Охотный ряд, Зубовский... Мелькали стремительно улицы, бульвары, переулки. Нахлёстывал «Ванька» нетерпеливых своих коней, рвущихся вперёд навстречу крутению.

– Н-но! Балуйся!

И Ларин крик, на взвизг восторженный срывающийся:

– Быстрее! Ещё быстрее!

– А не боитесь, барышня, перевернуться?

– А хоть бы и так!..

И, действительно, ничуть не страшно было от этого безумного бега. И не чувствовался холод, обжигающий пылающие щёки. Ничего не чувствовалось, кроме незнакомого прежде упоения. Замолчала душа, как в народе говорят, и страсть властвовала безраздельно, как метелица на московских улицах.

Лара была одета в простую шубку и барашковую шапочку, а поверх повязала по-бабьи тёмно-малиновый платок, спадавший на плечи. Уже иней покрыл её ресницы, а глаза светились звёздами, и всё гнала и гнала она дальше сани... Смеялась звонко и никла к груди Сергея. А он обнимал её крепко, уже вовсе не замечая, какими улицами и закоулками они летели.

Обедали дома. Из ресторана по заказу Лары принесли роскошные кушанья. Лара отпила вина, вздохнула глубоко:

– Думала, в городе отобедаем, а потом... Публика там по ресторациям гуляет, а я теперь никого видеть не хочу. Ни чужих, ни знакомых. На тебя насмотреться лишь... Так ты непохож на них... Ни на кого непохож... И зачем ты так на них непохож? Был бы похож, как бы мне легче было...

– Отчего же легче?

– Оттого, что муки никакой... Ведь ты совесть моя, понимаешь? Поп на исповеди меня пронять не мог, а ты, вот, посмотрел, и такой я себя чёрной почувствовала...

Сергей опустил перед ней на колени, сжал обе её руки, уткнулся пылающим лбом в колени:

– Ты светлая... Самая светлая! А я... Прости меня!

Она скользнула к стоявшей в углу тёмно-зелёной софе, поманила к себе:

– Иди сюда...

Так продолжалось десять дней. Уже миновала масленица, начался Великий Пост, в храмах звучал скорбный канон Андрея Критского, и все православные сокрушались о своих грехах... А они были поглощены друг другом. Дурманом эдемского яблока, испепеляющим, ослепляющим, парализующим дух чувством.

– Завтра мои возвращаются, – сказала Лара в какое-то утро.

– И как же теперь?.. – почти с испугом спросил Сергей, для которого мысль о разлуке была непереносима.

– Не знаю, милый... Не бойся, выход ведь всегда найдётся, правда?

И они находили этот выход ещё целый месяц затем. Вернее – выходы. Встречались тайком и спешно. А на людях она не удостаивала его взглядом. Стеснялась его... На Страстной Сергей почувствовал на сердце страшную пустоту, доходящую до глухого отчаяния. Он ей не нужен. Он для неё – очередная игрушка. Домашний питомец... Никогда она не унижится до того, чтобы явиться с ним перед своими лощёными друзьями, чтобы объявить родителям, чтобы... Кто он для всех них? Полунищий студент и только. Крестьянский сын. До способностей его – какое дело им? Способности эти не подтверждены ещё учёными званиями и материальным благополучием. Даже гения Пушкина третировала родня из-за скудного материального положения... А тут!.. И как мог размечтаться так? Поверить? Забыться? В омут головой нырнуть... Наивный глупец... Но и как же жить без неё?.. Нельзя, невозможно... Хуже смерти...

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои -
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи,-
Любуйся ими – и молчи.

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймёт ли он, чем ты живёшь?
Мысль изречённая есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи,-
Питайся ими – и молчи.

Лишь жить в себе самом умей -
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи,-
Внимай их пенью – и молчи!..²

В этот день у неё были гости. Два молодых франта и завитая по последней моде щеголиха. Танцевали, пили шампанское, смеялись. Он проходил мимо, случайно споткнулся, обронил папку, из которой вылетели листки. Это развеселило их. И Сергей услышал, как один из франтов шепнул ей довольно громко:

– Вы, Ларочка, одним взглядом с ног человека сбиваете!

Она расхохоталась...

Это было настолько обидно, настолько неожиданно, что на глазах Сергея закипели слёзы. Он поспешно сложил листки в папку и вышел. Неподальёку гордо высилась старая церковь – Никола Большой Крест. Едва чувствуя под собой ноги, Сергей вошёл в неё и в изнеможении опустился на колени перед образом Богородицы. Он вспомнил, что уже – Страстная. И что весь Великий Пост провёл он во грехе, в наслаждении грехом. И хотя вера никогда не была главным в его жизни, а всё же опалило душу стыдом. Почувствовалось явственно, что негоже вышло. Да, вот, и не за то ли расплата? Как несчастный заблудший, околдованный чарами лесовух и брошенный ими в чаще, распластан он теперь, измождён и не ведаёт, куда же идти?

Сергей чувствовал, как столь непривычное напряжение всё больше расстраивает его некрепкие нервы, доводя до болезни. Ночами его изводила бессонница, а сны стали пугающими, безумными. Это сказывалось на учёбе, и даже Аристарх Платонович выразил обеспокоенность состоянием здоровья любимого ученика. Хмурился и Пряшников, отвлекаясь от своих картин, ворчал:

– Заездит тебя твоя ведьма, как панночка Фому Брута, заездит. Возьми и брось! – встряхивал за плечи. – Женщин вокруг тьма! Выбирай любую, женись, живи себя счастливо!

Сергей лишь вздыхал в ответ. Так может рассуждать лишь человек, никогда по-настоящему не любивший... И тем уже счастливый...

– Тебе, Стёпа, не понять...

– Где уж нам! Бродишь, как приведение, как полоумный... Ведь смотреть же больно!

На Страстной он всё же исповедался и приобщился, но боль не проходила. Менее всего теперь ему хотелось переступить порог рокового дома. Но и не ходить туда не мог. И не только из-за службы, но и потому, что не мог не видеть её.

В тот день у неё был очередной визитёр. Бравый гусар с пышными усами. К его приезду Лара оделась особенно нарядно и сразу увела его в свой будуар. Гусар пробыл у неё долго, но на обед не остался. Сергей видел в окно, как она вышла провожать его. Они долго стояли на крыльце, а затем пылкий визитёр обнял её и расцеловал. И она не оттолкнула его. Более того – ответила взаимностью...

Не слыша и не чувствуя самого себя, Сергей сошёл в гостиную, где вскоре появилась Лара. Появилась и посмотрела вопросительно:

– Что это с вами, Сергей Игнатьич?

У него кружилась голова. Он смотрел на неё страдальчески, пытаясь понять, что же происходит в ней, и за что она так нещадно с ним обходится. Говорить не было сил, но всё же он спросил хрипло:

– Зачем?..

– Что – зачем?

– Зачем ты такая?..

Она гордо вскинула голову:

– Ты забываешься! Какое право ты имеешь меня судить? О, я давно заметила, такие, как ты, всегда наделены большим самолюбием!

Сергей не ответил. Сделал шаг к двери, у которой стояла Лара, но остановился. Ещё раз взглянул на неё пылливо, ища проблески той девочки, которую увидел некогда. Но она смотрела на него надменно-презрительно, с насмешливой улыбкой, кривившей губы.

– Что, господин учитель, хотите ещё что-то сказать? – осведомилась вызывающе, глядя чужими, жестокими глазами...

И чувства нет в твоих очах,
И правды нет в твоих речах,
И нет души в тебе.
Мужайся, сердце, до конца:

И нет в творении творца!
И смысла нет в мольбе!³

Сергей вздрогнул и дал ей звонкую пощёчину...

Из дома Голубицких он выбежал, как ошпаренный. До ночи мыкался по городу, пил горькую в каком-то кабаке, ища облегчения, откровенничал с нетрезвым подмастерьем...

А потом наступил провал. Чёрный, как бездна. Ему то и дело виделась она. Уходящая, манящая, которую он не в силах догнать и не в силах умолить стать другой. А то вдруг огненно нежная, пленительная, страстная. А то – гонящая, смеющаяся над ним. Одна или в компании своих друзей...

Очнулся Сергей измученным морально и физически, не имея сил даже подняться. Он нашёл себя в своей комнате, на чистой постели, рядом с которой громоздились аптекарские склянки. Попытался встать, но не достало сил.

– Лежи уж пока, – услышал над собой голос Степана.

Пряшников обогнул кровать, сел верхом на стул, тот самый, на котором некогда сидела она, покачал головой:

– Да, брат, перепугал ты нас!

– Вас?

– Ну да. Меня, Платоныча, Лидию.

– Постой... Что со мной было?

– То, что и должно было быть, – пожал плечами Степан. – Горячка в лучшем самом виде. А я ведь предупреждал! – он наставительно поднял перепачканный красками палец. – Добрую неделю без памяти прометался. Спасибо ещё Лидии: прислала врача и всё необходимое. Сама, между прочим, хлопотала у твоего одра. Каждый день приходит.

– А я?

– Что – ты?

– Говорил при ней что-нибудь? – Сергей почувствовал смущение.

– Ты, брат, много чего говорил. Да кой чёрт – что? Мало ли кто что в бреду несёт...

– Неловко, однако...

– Неловко... – Пряшников усмехнулся. – Вздор! Погоди-ка, сейчас Мавре скажу, чтобы бульон тебе согрела. Доктор сказал: как опомнишься, так непременно чтоб бульон. Вон ведь на кого похож стал! Чисто кощей! Э-эх...

Он болел долго, терзая себя горькими мыслями, сокрушая воспоминаниями о Ларе. То винил её, бездушную кокотку, играющую чужими чувствами, то проклинал себя... Быть может, будь он другим, так и смог бы её из этого омута вырвать. Ведь живо же в ней ещё то настоящее, что раскрылось в те несколько дней, когда они были вместе. Тогда, именно тогда всё же она настоящей была! Так сыграть невозможно! И будь он сильнее, умнее, смелее, так и настоящее это смог бы удержать, не дал бы ему вновь уйти на дно, уснуть. Но не смог... И чья же вина? Разве её?..

Совсем случайно Сергей узнал, что Лара выходит замуж. За старого богача. Ещё едва держась на ногах, он тайком от Степана оделся и, взяв извозчика, поехал к церкви. Как раз зазвенели радостно колокола, и молодые вышли на улицу. Оборвалось сердце, подпрыгнуло, забилося гулко. Как прекрасна она была в белом, пышном платье! Мужайся, сердце, до конца... Сергей зажмурился, словно ослеплённый. Голова закружилась, растеклась вязкая темнота перед взором. Велел слабо извозчику:

– Домой...

А дома ждали его Степан и Лидия.

– Никак поздравлять ездил? – сердито бросил Пряшников и мгновенно подскочил, подхватил под руку, помог дойти до кровати. – Нет, ну, посмотрите, а! Куда тебя понесло-то? Лидия Аристарховна, душа моя, да образумьте хоть вы его! Ведь измордует себя!

Степан ушёл на кухню за чаем, а Лидия приблизилась, взяла Сергея за руку:

– Это очень неразумно было с вашей стороны – так уехать. Я уже собиралась ехать следом, но Степан Антоныч сказал, что вы скоро вернётесь.

– Вы знали, где меня искать?

– Знала... – Лидия опустила глаза.

– А он почему решил, что я быстро вернусь?

– Нельзя быть долго там, где больно и горько...

Она говорила что-то ещё. Негромко, вкрадчиво, но при этом твёрдо. И выходило у неё успокаивающе, утешительно. Под её-то неторопливый говор и уснул он, истомлённый поездкой и переживаниями.

Через две недели доктор заявил, что для поправки здоровья пациенту необходима смена обстановки и длительное пребывание на свежем воздухе. Во исполнение этого указания ничего не оставалось, как только уехать в Глинское. Но туда – всего мучительнее было. Как и показаться там? Перед всеми? Учёбу пришлось прервать, а, значит, этот год потерян безвозвратно... Стыдно! И от того ещё тоскливее...

– А вы не говорите им ничего, – надоумила Лидия. – Какая в этом необходимость?

– Так ведь потом всё равно узнают...

– С тем, что будет потом, потом и разберёмся. А пока к чему спешить? Всё образуется, вот увидите!

И опять с такой неколебимой твёрдостью и уверенностью прозвучало это, что и самому поверилось.

На перроне тепло простились со Степаном и Лидией. Подумалось, что всё же грешно роптать на судьбу. Ведь не оставлен он был один, и оказались рядом два друга верных, не бросивших в беде. Когда бы не их забота, пропал бы... Попытался высказать им всё это, от души растроганной. Да Пряшников только руками замахал:

– Ну тебя, ей-Богу! Не люблю этих реверансов! – и сгрёб длинными, мускулистыми руками в охапку, обнял, расцеловал троекратно. – Осенью жду тебя, брат, окрепшим и здоровым!

И Лидия руку подала:

– До скорой встречи, Сергей Игнатьич, – как-то значимо сказала, по-особенному.

– Я вам писать буду... – пообещал Сергей. – Обоим вам...

И, вот, застучал колёсами поезд, набирая скорость, унося в родные пенаты, где, Бог знает, ждал ли кто...

Глава 4. Встреча

Мачеха ещё с вечера уехала в соседнее село – проведать родных. Прихватила и малышкой – соскучились по ним дед с бабкой. Аглая с облегчением дух перевела. Хоть денёк-другой тишь да гладь в доме будет. Совсем как прежде.

Отец с утра затеялся с дровами. На палящем солнце, в почерневшей от пота рубахе, колот их, укладывал чурки под навес. И поругивался сквозь зубы, косясь в сторону дома:

– Приехал «барчук»... Ишь, зелье какое выросло! Понабрался от бар дури-то! Хотя чёрт знает и от кого! На барина поглядишь – весь день отдыха не знает, чуть свет подымается. Да и молодой барин тоже никогда ледащим и неженкой не бывал. А этот!.. Тьфу! Антиллегенция... Экую моду взял: до полудня спит, потом весь день в потолок пялится, а то шатается без дела! Где это видано?! Нет бы помочь отцу... Учёный... Знать, науки эти душу-то дюже разлаживают! Грусть-тоска его, видите ли, гложет... Матерь пресвятая! В его-то лета! Да я в его лета... Э-э-эх!..

В сущности, прав был отец. Как приехал Серёженька, так и маялся всё время. К полудню подымется, отхлебнёт кваску и ляжет вновь, смотрит перед собой, думает о чём-то. А то ещё полотенчику мокрое на голову положит. Объясняет, что мигрень у него, голова сильно болит. И бледнее обычного становится, страдалец. И словечка не вытянешь из него. Спросишь о чём, отвечает односложно. Да невпопад. И ясно – даже не слышит, о чём спрошено. Обидно! А Аглае страсть как хотелось братца порасспросить про московскую жизнь! Да где уж...

Особливо нервировали Серёжу дети. На целый день, бедный, прочь из дома уходил, пропадал где-то – только бы плача их не слышать. Конечно, непривычный... И ни с кем-то говорить не хотел. Даже в усадьбу, к барыне, только раз сходил. Да к Надёжину ещё. И не улыбался вовсе... Какую-то тяжёлую думу думал. Переживала Аглая. Уж не болен ли братец? Уж не приключилось ли что? Ведь так ясно было, что гнело его что-то, мучило. И от этого неведомого худел он и бледнел. Но не делился им. Таил про себя. Или считал сестру ещё ребёнком? Считал, что не сможет понять? Да уж, чай, поболее его понимала уже. Не в науках витала ведь, а на земле жила...

– Глашка! Нукася, пособи отцу!

Припустилась Аглая. Что? Чем? Дрова помочь носить и укладывать... Это ничего, это нетяжко. Да и что ей тяжко было? По хозяйству всё умела она. Всему выучилась. Вздыхал отец:

– И почему ты у меня девкой родилась? Была б парнем – то-то счастье мне! Э-эх... Дал бы Бог времечка младших поднять – может, хоть они людьми будут. На Серёжку-то надежд никаких! Пропавшая душа! Вот же подарила мать твоя, покойница, наследничка... Прости Господи! Всё одному тащить приходится!

И это правда была. Тащить отцу приходилось многое. Никогда не знала семья, что такое голод и нужда. Отец хозяйствовать умел. Считая всякую копейку, где можно было экономить, но не скаредничая в необходимом. Земли, правда, маловато было, не развернёшься. Зато скотины довольно: лошадок две, три коровы, чушки, куры. А к тому был отец знатный плотник, что давало дополнительный заработок. Женившись вновь, сумел он в последние годы старую избу подновить, расширить, покрыть железом. Меж тем, семья росла, и хозяйство требовало расширения. Так и надрывался отец день за днём, с надеждой глядя на младших детей – уж их-то он людьми вырастит, приучит к труду.

К полудню на крыльце показалась худощавая фигура брата. Сонный, как всегда в это время дня, раздражённый после скверно проведённой ночи, стоял, прихлёбывая квас. Щурился близорукими глазами на палящее солнце.

– Серёжа, ты завтракать хочешь? Хочешь картошечки с лучком? – спросила Аглая.

– Обождёт, – сухо сказал отец. – Сейчас закончу работать – обедать будем.

Вслух он никогда не высказывал сыну упрёков. То ли жалея, то ли считаясь с его учёностью. А перед соседями так и вовсе – хвастал. Что сын у него не лоботряс какой, а учёный будущий, сама барыня его за способности приветила и в Москву учиться отправила! Он ещё всю семью, всю деревню прославит! А уж коли случилось заложить за воротник – то и совсем раздувался от гордости за сына-учёного, давал волю фантазии...

– Батя, может, помочь? – робко предложил Серёжа.

– Спасибо, сынок, но уж я сам управлюсь, – усмехнулся отец. – Ты отдохнуть приехал – вот, и отдыхай. Погода ноне добрая, сходи в лес прогуляйся. Воздухом подыши. А то вона бледный какой!

– Да... Я пойду, правда... – рассеянно отозвался братец, вздохнул глубоко и, закурив папиросу, вышел за калитку.

Отец сердито сплюнул, ухватил очередное поленце.

– Что же ты помочь ему не дал? – спросила Аглая. – Сам ведь сердился, будто он не хочет.

Отец усмехнулся вновь, отёр пот с загорелого лица:

– Дай блаженному топор – так он или пальцы себе посечёт, или инструмент покалечит.

Инструмент жалко, за него деньги уплочены.

В это время у калитки остановился шарабан, в котором, укрывшись от солнца голубым зонтиком, сидела молодая девушка в белой воздушной блузке, коротком жилете, голубой юбке с широким поясом и соломенной шляпке с голубой же лентой.

– Кого это лешак принёс? – нахмурился отец.

Девушка, меж тем, сложила зонтик, сошла, опираясь на него, на землю и направилась к калитке.

– Сюда идёт! По виду барышня... – отец ринулся в дом. – Глашка, встречь!

Аглая оправила подол юбки, поправила волосы и, подойдя, отворила гостье калитку. Девушка была ростом чуть повыше Али, фигура её не отличалась хрупкостью, но была стройна. Смуглое лицо казалось открытым, хотя немного суховатым. Сухость, впрочем, растворяла приятная улыбка и добрый взгляд выразительных тёмных глаз.

– Здравствуйте! – приветливо кивнула барышня. – Здесь ли проживает Сергей Игнатьевич?

– Здесь, – кивнула Аглая, с любопытством разглядывая гостью.

– А вы, должно быть, его сестра? Аля?

– Да...

– А я – Лидия, – барышня протянула Аглае крупную, тёплую ладонь и сама пожала ей руку. – Лидия Кромиади. Мы с вашим братом знакомы по Москве... А дома ли он?

– Да! – Аглая всполошилась. – То есть не совсем! То есть... Он вышел прогуляться... Он придёт скоро! Нет, я сейчас сама за ним сбегая! А вы... Вы здесь вот! Вы подождите!

– Да-да, конечно, – кивнула Лидия. – Вы не беспокойтесь...

Аля хорошо знала привычки брата. Знала, где искать его. Конечно, на реке! Там где вётлы сплелись ветвями так, что образовали укромный шалаш, невидимый стороннему прохожему. В этом убежище Серёжа мог проводить целые часы. Здесь никто не тревожил его, не отвлекал от мыслей.

Пока добежала до реки, запыхалась. Позвала брата ещё издали, и он, раздвинув ветви, вынырнул ей навстречу, взъерошенный, удивлённый:

– Ты что бежишь, заполошная?

– Там барышня к тебе! Лидия! А фамилию забыла... – выпалила Аглая останавливаясь.

Продолговатое лицо брата выразило изумление. Он нервно потеревил недавно отпущенную щётку усов.

– Лидия? Здесь? У нас?..

Аглая кивнула.

– Зачем?..

Нашёл, о чём спросить... Вот уж, в самом деле, блаженный! Откуда Але это знать?

– Идём, сам спросишь.

Она спешила. Хоть и любопытно ей было, зачем приехала барышня к брату, а совсем другое волновало теперь. Её – *ждали*. Ей пора было бежать. А тут неожиданная помеха не ко времени. И не сбежишь так вдруг. Ах ты Господи! Да ещё же и Серёженька мялся, не шёл домой. Оглядел себя:

– Да ведь я одет худо... Да ведь... – приглаживал лихорадочно непослушные волосы. Затем сбежал к реке – умылся наскоро.

А Аля изнывала. Если так пойдёт, так не дождутся её! А ведь она думала раньше прийти...

– Да хватит же! Она же ждёт! – поторопила брата и, ухватив его за руку, потянула за собой.

Лидия сидела в саду на скамейке и о чём-то беседовала с отцом, успевшим обрядиться в праздничную рубаху, дабы не ударить лицом в грязь перед московской гостьей.

– Глашка, чаю барышне подай! – распорядился и вслед за стремительной Аглаей прошёл в дом.

Ах, как хотелось послушать, о чём это братец будет говорить с барышней! Думалось Але, что между ними могло что-то быть в Москве. Может, поэтому таким хмурым был Серёженька? Поссорились? А теперь помирятся! Как бы славно было!

За чаем Лидия призналась, что не хотела бы сразу уезжать в Москву, проделав такой путь. Отец пожал плечами:

– Мы были бы счастливы оказать вам гостеприимство, Лидия Аристарховна, но не покажется ли вам жизнь у нас слишком стеснительной? Тут, знаете ли, жена, дети... И вообще... А вы – барышня. Наверное, к другому привыкли.

Серёжа умоляюще посмотрел на Аглаю, шепнул ей на ухо:

– Придумай что-нибудь!

Придумать – для чего? Чтобы она уехала или чтоб осталась? Поди пойми! Задал задачку братец... А время-то – ускользает! А у самой-то сердце из груди вылетает – туда! Где ждут...

– А, может, вы остановитесь у бабки Лукерьи? – предложила первое, что пришло на ум. – Она одна живёт, почитайте, вся изба свободна. Вам только рада будет! И вам у неё уютно и спокойно будет! А обедать все вместе будем! Я назавтрева обед праздничный в честь вашего приезда сготовлю!

По благодарному взгляду брата Аглая поняла, что придумала хорошо. Гостья тоже оживилась. Она, оказывается, всегда любила деревню. В детстве жила летом у старой тётки. И, конечно, с радостью остановилась бы у Лукерьи. Не дармоедкой, конечно, ни в коем случае. За комнату она заплатит.

Вот, и славно. Осталось лишь с самой Лукерьей сговориться. Но да тут, уверена была Аглая, опасаться нечего. Приветит гостью старуха. Только рада будет.

Не откладывая, повела Лидию к ней. Шепнула бабке тихонечко, что это, может статься, серёжина невеста, и что очень надо помочь. Лукерья закивала понимающе. Сказала устроить постоялицу в горнице, а прежде рассмотрела её слезящимися глазами, закивала опять:

– Хорошая!

Серёжа смущённо мялся чуть поодаль. Аля подтолкнула его:

– Иди, помоги гостье устроиться.

– А ты?

– А у меня дела ещё сегодня! По хозяйству – кому ж? – солгала, не устыдившись. Да и гостье-то самой к чему нужна была она, Аглая? Чай, не к ней в такую даль ехала. И не с

тем, чтобы деревенской жизнью наслаждаться. Серёженька-то, правда, может и искренне не догадывается... Но да Але-то ясно всё, как день. И так понимала она барышню Лидию! Таящую такую же тайну, как сама она... И за эту тайну нежданную гостью уже любила, как родную.

Оставив барышню на попечение брата, Аглая бегом помчалась к белоствольному боже-лесью. Не было времени даже косы уложить, как следует – повязала их наспех косынкой. А когда бы шляпку, как у барышни! Красивая такая шляпка... Да и платье тоже.

Бежала, спотыкаясь, мимо матерински-нежных берёз, против обыкновения, не касаясь их руками, не здороваясь с ними. А перед глазами уже стоял – *он*. Её тайна.

В тот день, когда он ненароком увидел её, купающуюся, она загадала, что, если назавтра он придёт в это место вновь, то это – судьба. Так взволновалась, что не могла уснуть всю ночь, а с первым рассветным проблеском устремила к омуту. И ещё не доходя, углядела за деревьями сидящего на берегу офицера. Вот он поднялся, прошёл взад-вперёд. Ждал! Неужели – её?..

Он красив был, молодой барин. Высокий и ладный, русоволосый, а лицо – словно вылепленное... Вспомнилось Лукерьино: с такого лица только воду пить. И захолонуло сердце. Для чего пришла? Нельзя было приходить! И хотела бежать обратно, но ноги сами вынесли её на берег. И он увидел её. Обрадовался. Шагнул навстречу.

– Так, стало быть, вы не видение? И не русалка? – пошутил приветливо.

– Стало быть, и вы не лесовик? – сразу нашлась Аглая.

Рассмеялись оба, весело, точно давно знакомы были.

– Это с вашей стороны очень дурно было вчера – подглядывать, – укорила Аля.

– Бог с вами, я и в мыслях не имел! Просто шёл к дому, и вдруг – вы...

– А сегодня?

– Что – сегодня?

– Тоже – не имели в мыслях? Тоже шли к дому и замечались?

– Шёл, – подтвердил Родион. – Только из дома. Шёл и замечтался.

– О чём же?

– О неземном, по-видимому, создании, которое мне вдруг явилось вчера... Замечтался и загадал, что если сегодня увижу её вновь...

– То – что? – Аля дрогнула.

– То это судьба...

Зашлось сердце, подкосились ноги. Не мог же он мысли её прочесть! Да разве так бывает?.. Присела на траву, стараясь глядеть не на него, а на воду. Молчала. Насвистывали птицы свою радостную мелодию, каждое утро новую, перекликались зычно лягушки, и отчего-то стало легко и спокойно. Точно не было никакой иной жизни вокруг, ничего вообще не было. Только этот омут и они двое возле него.

– Вы даже не сказали мне вашего имени...

Говорил с ней, точно с барышней. На «вы». Никто и никогда так прежде не говорил... И приятно было.

– Аглая, Аля... – откликнулась. – Мы ведь с вами, Родион Николаевич, когда-то в горелки играли, не помните? А братец мой, вашей матушки крестник, в вашем доме подолгу живал.

– Так вы сестра Серёжи? – оживился Родион. – Надо же... Как время быстро летит... Горелки... – он улыбнулся. – Вроде бы так недавно было! Правда, мне больше памятли игры в индейцев. Луки... Стрелы...

– Кажется, этим играм вы решили посвятить всю жизнь?

– В каком-то смысле. Только луки и стрелы мне заменят снаряды и гаубицы, – он помолчал. – Говорят, скоро начнётся война. Тогда наиграемся вдоволь...

– Неужели война вам кажется забавой?

– Честно? Не кажется. Поэтому вряд ли мне суждено стать генералом!

– Почему?

– Потому что для этого войну нужно любить, войной нужно жить. А я, в сущности, человек мирный. Впрочем, война, должно быть, довольно любопытное занятие, если исключить тот нюанс, что на ней убивают. Причём достаточно бездарно и буднично. Будь моя воля, я предпочёл бы судьбу путешественника!

– Кто же вам мешает?

– Отец.

Аглая улыбнулась:

– Оказывается, и вы подневольный.

– Все мы, наверное, подневольны в разной степени... Хотя, глядя на вас, мне не верится, что вы подневольны. В вас столько лёгкости и свободы... Настоящей, внутренней. Не нарочитой, как у некоторых светских кукол. Вы свободны, как сама природа!

– Природа, Родион Николаевич, зависит от времени года и погоды. Какая же тут свобода?

Так непринуждённо беседовали они в утро своего знакомства. Только глаза его говорили неизмеримо больше, нежели губы. И совсем иное. Глаза говорили о том, о чём и сладко, и страшно было думать. Что будоражило, пугало, томило и... наполняло невместимым счастьем!

Они стал видаться всякий день. Тайком ото всех. Гуляли по лесу, подолгу сидели на берегу омута... Аля понимала, что эти встречи не имеют доброго исхода. Но об этом не хотелось думать. Не хотелось думать, что будет дальше. А только хоть час-другой в день быть в ином мире, сказочном, как прекрасный сон.

Родион ждал её на этот раз долго. Так долго, что стал волноваться, что она не придёт. И заслышав её шаги, бросился навстречу, и от радости, что она всё-таки пришла, обнял её, поцеловал горячо в щёку. Впервые поцеловал.

Аглая отпрянула, но приблизилась вновь. Так хорошо и тепло стало от его прикосновения... Потёрлась лбом о его плечо:

– Прости... Я не могла раньше. К нам приехали гости...

– Тогда вдвойне спасибо, что смогла вырваться и пришла, – прошептал Родион ей на ухо, касаясь его губами. – Ты чудо... Неземное создание... – он всё крепче сжимал её в объятьях, лаская, лишая воли, подчиняя себе. И всё же она нашла в себе силы высвободиться:

– Не надо... так... Или вы думаете, Родион Николаевич, что если я сирота и не барышня какая-нибудь, то и так можно?..

– Прости, – Родион виновато погладил её по волосам. – Я забылся, потерял голову... Ни одна барышня не сравнится с тобой! И ни одна не нужна мне. Мы ведь оба загадали с тобой. На судьбу... А судьбу не обминешь.

– Полно... – Але вдруг стало грустно. Она села, обхватила руками колени. – Твой отец никогда не позволит, чтобы я тебе законной стала. А беспутной сама становиться не хочу... Срама не хочу...

Родион вздрогнул, порывисто схватил её руку, прижал к губам:

– Ты – и беспутная?! Нет! Так не будет. Обещаю тебе. Я люблю тебя, Аля, а не утхи ищу. Мы обвенчаемся, обещаю тебе.

– Твои родители не позволят.

– А хоть бы и так! – вспыхнул Родион.

– Полно... Ведь ты сам назвал себя подневольным.

– Я был таким, пока не знал тебя. А для тебя я через любую волю переступлю! – он говорил жарко, убеждённо, и Аля залюбовалась им. Его горячностью. Блеском любящих глаз. И сама руку его поцеловала:

– Не обещай ничего. Обещания – неволя. Не нужно. А я тебя всегда любить буду. Что бы ни было, душа моя тебе принадлежит. А теперь прости, милый, бежать мне пора. Ждут меня. Хватятся – искать станут!

– Постой! – Родион вскочил следом за ней. – Завтра и к нам приезжают гости. Я обязан буду быть дома...

– Не сможешь прийти?

– Это близкие друзья отца. И к тому – рождение сестры...

– Да-да, конечно, – закивала Аглая. – Ты должен быть. А у нас тоже гости... Я праздничный обед обещала... Но ничего... Тогда послезавтра? Да? Да?

– Конечно, неземная... Послезавтра... – Родион бережно обнял её за плечи, долго целовал, прежде чем отпустить. Она не сопротивлялась, боясь расстаться с ним, жадно ловя краткие мгновения счастья.

А заспешила не домой. Ещё утром обещалась – к Марье Евграфовне. В амбулаторию. Помочь прибраться и разложить накануне привезённые лекарства. А с этой канителью – завертелась, не успела. И совестно было. Марья-то Евграфовна – святая. Праведница. У неё только ноги целовать, край подола. Следочки, что на земле от стоп её остаются. Частенько помогала ей Аля в амбулатории, поднаторела по санитарной части. Это кстати было: малыши болели часто, и сама лечила их. Марья Евграфовна Аглаю хвалила. И, вот, впервые подвела её. И даже боязно идти было. Не потому, что ругаться станет. Святая ведь. Она и за тяжкий проступок худого слова не скажет, простит. А – угадает. Оком прозорливым, каким только праведники наделены, прозрит её тайну...

А всё-таки надо было идти...

Глава 5. Милосердная барышня

С утра шли и шли люди. За помощью врачебной, но и не менее того – душевной. Серьёзных больных, слава Богу, не было. Ангины у деток, нарыв, больной зуб, вывих... Кажется, всё? Да, вот, пожалуй, старичок один на глухоту жалобился, а всего-то и надо было – ухо промыть. Под вечер молодку привели. В поле работала, и, зная, с жары удар солнечный хватил. А ещё частили старухи. У них никакой хвори и не было, а – скучали. Хотелось поговорить. Пожаловаться на тяжкую долю. Это многим хочется, да где ж слушателей благодарных найдёшь? Всякий свою боль поведать норовит, а не чужую слушать. А иному-то вперёд всех лечений именно это и нужно – выговориться. Чтобы выслушали. И поняли. И посочувствовали. Это давно Мария поняла. Ещё в детстве. И поняв, покорно, словно добровольно взятое на себе послушание исполняя, слушала всякого, кто нёс к её порогу свою беду. А несли – многие... К бабюшке не так ходили, как к ней. Бабюшка был человек добрый, но слишком занятый собственным год от года растущим семейством. А к тому водился за ним грех зелёного змия. Послушать-то он по долгу службы мог, коли на исповеди, а слова, а тона утешительного найти – не умел. Отпустит грехи и спешит, спешит по делам своим...

Тяжко иной раз становилось Марии от всех этих каменьев-бед, горей-гор, что на слабые её плечи переваливали. И так хотелось хоть кому-то самой больное выплакать. Вот, являлся на пороге человек, и чудилось: вот, сейчас ему – и распахнуть душу, излиться... А человек, не замечая того, начинал уже своё изливать. И смирялась Мария. Знать, ему тяжелее. Не привык в сердце своём пережигать всё, его не жалея. А она – привыкла. Да к тому ведь всегда есть, кому излиться... Ночью, у образа Богородицы распростёршись, Ей одной, Заступнице и Милостивице, поверить сокровенное. И легче станет. И утихнет сердце болящее.

В Глинском шла о Марии слава, как о святой жизни подвижнице. С благоговением смотрели ей вслед, земно кланялись. А она страдала от этого. Знали бы они все, какие помыслы за праведностью этой кроются! Знали бы, какое греховное влечение заставило облик этот благочестивый принять. Не к Богу любовь на стезю эту вывела, а – к человеку... И в мыслях своих чаще не с Богом разговаривала она, а с ним. С тем, кого так хотела изгнать из своей души, истязая тело, и кого любила по сей день.

...А знаете ли вы, самый дорогой на свете человек, что встреча с вами перевернула всю мою жизнь? Знаете ли, что и теперь, когда я вижу вас, слышу ваш голос, всё во мне трепещет? Что, закрывая глаза и читая заученно Иисусову молитву, я вижу перед собой ваше лицо, вспоминаю ваш смех, каждое ваше словечко? Что никогда и ни о ком я не молилась так жарко, как о вас? Вы не знаете... И не узнаете никогда. И слава Богу. Знание разрушило бы мир и теплоту меж нас. То единственное земное, чем я, грешная, ещё дорожу. Поэтому я не позволю, чтобы вы узнали...

Десять лет минуло, давно примирилось сердце со всем, а всё так же дрожало, когда ласковый голос его доносился:

– Марочка, что-то вы печальны сегодня?

Да, в отличие от сестры, барыни, Анны Евграфовны, она никогда не была для него Марией Евграфовной. Ни даже Мари, как называли все. Марочкой. Марой. Никто больше не звал так. А так ласково выходило, так тепло... Что слёзы навораживались.

Когда на сестриных вечерах он садился за рояль, у неё перехватывало дыхание. Ночами она лежала в жару, металась, бредила. Но днём не подавала виду. И лишь с особенным участием стала относиться к вопросам просвещения крестьян. Это, впрочем, никого не удивило. Мария с детских лет отличалась добросердечностью, старалась помогать больным и обездоленным. Вот и теперь стала она помогать... Слово бы – Христа ради. А на деле – для кого ж? Для чего

ж? Ему напрямую чем-либо не могла помочь. Это значило бы – себя выдать. Так – вокруг, всем. Чтобы та лепта, что ему дастся, среди других затерялась.

И за такое-то – в праведницы записали... Стыд, стыд...

Он не замечал ничего. Земская школа тогда лишь отстроилась, и у него с Николаем Кирилловичем много идей было, как просвещать окрестное население. Мария старалась участвовать во всех начинаниях, что сближало её с ним. А ещё она любила иногда приходить на его уроки. Подолгу сидеть в углу класса, слушая его приятный, тёплый голос, глядя на оживлённое, вдохновлённое лицо.

...Ах, Алексей Васильевич... Будь я какой-нибудь беспутной, то не удержалась бы. До преступления бы дошла. Но меня воспитали иначе... Прелюбодейцей я не стала... Или же стала всё-таки? В душе – стала! И не раз... И ею, каюсь, остаюсь. А то, что не стала наяву ею, так не моя, а единственно только ваша заслуга. Вы выше меня. Меня, к стыду моему, во святые возвели, а святым-то были вы. Я и взглянуть-то на вас боялась – так... Только снизу вверх взирала робко и тянулась за вами...

Алексей Васильевич был женат. Жена его приехала в Глинское следом за ним. Это была молодая, но очень болезненная женщина, хрупкая, почти прозрачная. Алексей Васильевич очень переживал за её здоровье. А она – за то, что Бог не давал им детишек. Забрал одного, родившегося мёртвым, а больше не посылал. А Сонечка, несмотря на слабость, мечтала о большой семье.

Это в романах, если у героини возникает большая любовь, то объект её вожелений непременно каким-нибудь образом соединяется с ней, а, если имеет жену, то уж непременно её не любит, потому что она не достойна любви.

В жизни всё бывает иначе. Или же просто не Мария была героиней печального романа, в который оказалась вплетена нить её судьбы. Сонечка была, как никто, достойна самой верной и преданной любви. И именно такой любовью к ней был исполнен её муж, жалеющий её и оберегающий. Других женщин для него не существовало.

Мария нашла в себе силы подружиться с Сонечкой, искренне полюбила эту чистую, светлую душу. Но всякий раз, видя их вместе, отводила глаза... Если бы хоть толика этой любви досталась ей! Если бы была она на месте Сонечки... Не было бы счастливее её на всём свете.

Эта сладкая мука длилась несколько месяцев, пока не грянула война. Весть о ней Мария приняла, как избавление. Вдруг нашёлся выход из того безумия, в котором она пребывала, из которого не имела сил вырваться. Разом стало легко на душе. Сомнений не осталось.

Собрав небольшой саквояж, Мария объявила родным, что намерена отправиться на фронт сестрой милосердия. Сестра, конечно, плакала. Высокий порыв всех восхитил, но не удивил. Патриотизм и милосердие всегда были свойственны Марии, а, значит, порыв её естественен.

Вскоре она была уже далеко от родного дома. В безопасности от соблазна, разъедающего душу.

На фронте, чтобы не осталось времени и сил на мысли, Мария работала практически без отдыха. Вывозила раненых с поля боя, ходила за ними в переполненных лазаретах, ассистировала при операциях...

В каком-то бою было много раненых. А сразу после него, как назло, зарядил проливной дождь. Всё размыло, и приходилось идти, увязая в грязи. В своём «непромокаемом» плаще Мария вымокла до нитки, неподъёмными гирями тяготили усталые ноги огромные мужские сапоги, но она держалась. Наконец, дошли до наполненной до краёв канавы. Переправы никакой... Замялись санитары: как же теперь?

Мария, недолго думая, сошла в воду. Пожилой солдат, лежавший на носилках с разбитой ногой, крикнул хрипло:

– Барышня, куда ж вы?! Простынете! – и на санитаров. – Что ж вы, барышню-то, не бережёте?!

Мария уже посреди грязного потока стояла. Вода оказалась ей по пояс. Махнула рукой санитарам:

– Переносите раненых!

И ничего не оставалось им. Раз уж сама барышня в реку сошла, то на берегу мяться не годится.

– Почто же вы, сестрица, сами-то? Мы бы и без вас...

– Ладно-ладно! Перетаскивайте живее! Ночь скоро – до лазарета добраться не успеем!

Так и переправились...

После этого Мария стала тяжело и надсадно кашлять. Тело изнемогало, а на душе водворился покой. «Томлю томящего мя» – так, кажется, писал фиваидский аскет? Даже на письма домой сил не оставалось. Засыпала на краткие часы, наконец, не видя безумных снов, и снова спешила работать.

Сестёр одну за другой косил тиф. Мария держалась. В огромном бараке она медленно переходила от одра к одру, искала для всякого страждущего ласковое слово. Почему-то представлялось: а ну как *он* бы был одним из них? Даже в это дело благое прокралось кощунственное. Спаситель завещал обо всяком заботиться, как если бы то был Он. Во всяком страждущем – Его видеть. А она видела того, кто так и владел её сердцем...

Какой-то ночью к лазарету приблизились японцы, объявили срочную эвакуацию. Был страшный переполох. Стрельба, крики, сумеречный дрожащий свет фонарей... Всё перемешалось в голове Марии. На какой-то момент она словно потеряла рассудок. Её нашли идущей по дороге, повторяющей бессмысленно:

– Ради Бога, дайте мне телегу и лошадь... Там в окопах остались раненые...

– За горой давно японцы, сестрица. Куда вы собрались?

– Что мне за дело до японцев... Если нет телеги, я пешком пойду...

Это было тяжёлое нервное истощение, помноженное на сильнейший жар, вызванный двусторонней пневмонией. Врачи опасались развития чахотки, но молодой, сильный организм справился с болезнью.

Поправлять здоровье сестру Кулагину отправили домой. Первые недели она почти не разговаривала, сидела на крыльце в кресле-качалке, положив ноги на подушку, глядя вдаль и перебирая чётки. Часто приходила Сонечка, подолгу сидела рядом, рассказывала что-то, либо читала вслух. Читала по просьбе Марии, большей частью, литературу духовную. Много – из недавнего, только что изданного. Алексей Васильевич исправно выписывал новые книги из столиц и неизменно привозил их из паломнических поездок. Помнила Мария, что читала ей Сонечка чудные очерки Сергея Нилуса из книги «Сила Божья и немощь человеческая» и труды батюшки Иоанна Кронштадтского, Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря и сравниваемый многими с творениями батюшки Иоанна дневник архимандрита Иосифа (Петровых) «В объятьях отчих», все одиннадцать томов которого издаваемые в Троице-Сергиевой лавре, последние годы заботливо собрал Алексей Васильевич.

Струилось богомудрое слово, читаемое вкрадчивым сонечкиным голосом, в больную душу, живило её, наполняло новым смыслом. Запомнилось из «Объятий...»: «Сколько счастья, утешения и самого тонкого возвышенного наслаждения вызывает радость на лице бедняка от души искреннею и необходимою ему помощью! Какое великое сокровище, может быть, покупаешь на презренный поистине металл, обыкновенно или безразлично скопляемый без всякого употребления, или расточаемый на дела суетные, бесцельные и недостойные. О, богачи! Какого блаженства не цените вы в ваших руках, не умеете извлечь и губите свою безрассудною жизнью!» И ещё: «Не надо слишком преувеличивать то, что может человека делать счастливым. Неудовлетворенность счастьем бывает и по достижении его. Можно быть счастливым,

как желалось, и чувствовать самую жгучую тоску по другом, высшем счастье и идеале его. Но это не значит – не иметь вовсе никакого счастья. Я думаю, нам и блаженство райское сразу не даст всего, но с мудрою постепенностью будет всегда выдвигать новые и новые горизонты и пределы пожеланий, но от этого нечего еще впадать в ад неудовлетворенности, тоски и отчаяния. Смотрите на жизнь проще. Она – вообще тоска по высшем счастье. И во всяком положении и состоянии тоска эта заявляет себя по-своему. Позвольте вам поставить диагноз. Вы счастливы, насколько этой сейчас нужно для вас. Вы не видели еще и не имеете понятия о настоящих несчастьях, и обижаете Бога, жалуясь на свою жизнь... После диагноза дают лекарство. Вот вам и оно: приведите на память все страдание и зло человеческое: обманутых мужей, разведенных жен, идиотов или уродов детей, злых тещ и змей-свекровей и снох; приведите на память жен с пьяницами мужьями, истаскавшимися во развратах и кутежах, наконец, всяких бездомных лохмотников, пропащих людей – не по людскому лишь суду и впечатлению (ибо и под рубищами очень часто скрывается золотая душа и сердце благородное), а действительно пропащих и по суду Божию (если есть и такие?), – и... пролейте Господу слезы благодарности за все!... А то Он покажет вам, какие люди действительно несчастны – на вас самих».

Попросила Сонечку выписывать в отдельную тетрадь. Та выводила старательно округло-детским почерком. Хоть и муж её учительствовал, а в грамоте не сильна была она. Рано осиротевшая, Сонечка до совершенных лет жила в семействе сельского священника – няней при его многочисленных детках. Худо-бедно выучилась грамоте, пристрастилась к чтению духовных книг. Думала в монастырь идти, Богу служить да встретила Алексея Васильевича... Так уже пятый годочек вместе...

Об Алексее Васильевиче, которого она всегда уважительно величала исключительно так – по имени и отчеству, Сонечка рассказывала много. А Мария слушала с болезненным любопытством, тая повышенное внимание и откладывая в сердце каждую выявляющуюся чётточку любимого образа. И снова заходила душа в тоске: какая же Сонечка счастливая! Хоть бы толику счастья этого узнать...

Алексей Васильевич не раз порывался навестить её, но она отказывала, ссылаясь на то, что не хочет, чтобы кто-то, кроме родных и близкой подруги Сонечки, видел её в больном и разбитом состоянии. На деле же она просто боялась встречи с ним. Боялась, что ослабленные болезнью нервы не выдержат, и она выдаст себя.

Поправившись, Мария наведалься к нему сама. В школу. После уроков. Рад был видеть... Вскочил стремительно, бросился навстречу, под локоть подхватил, чтобы она не оступилась. Сиял радостью. Согревал теплотой лучистых глаз. Да не согревал... Плавил... Как солнце красное снег...

Вспомнилась почему-то сказка о Снегурочке. Какая же, оказывается, глубокая сказка! Да-да, именно так и должно было быть... Ледяная дева должна была растаять, познав главное... Растаять от самых ласковых и нежных лучей – весенних. Отдать жизнь за право любить. За право испытать это неизмеримое счастье. Вочеловечиться в этом чувстве, которое прежде всего отличает человека от животного, возводит его на недостижимую высоту.

Отчего так высока цена? Вот и Русалочка платила её... Голосом, болью ног... Жизнью... Мудрые, мудрые сказки. Такие пронзительно-грустные. Почему-то читая их в детстве, Мария знала, что именно так и будет с нею. Снегурочка должна растаять. Или же должна отказаться от права вочеловечиться – любить...

Сидя рядом с Алексеем Васильевичем, рассказывая ему о пережитом на войне, Мария поняла, что не сможет оставаться в Глинском. Что это будет выше её сил. Иначе – быть преступлению...

Она долго думала, куда уехать на этот раз. Какое страшное место найти, чтобы там забыть всё. Место вскоре нашлось. Место, о котором она ничего не сказала родным, чтобы их не пугать.

Лепрозорий...

Прокажённых в России помещали в колонии, находившиеся вдали от людей. В Якутии, Приморье и других северных краях. Несчастные оказывались погребены заживо. Нищенские суммы, выделяемые на их содержание, разворовывались. Ухода не было никакого, лишь изредка навевались врач и фельдшер. У людей подчас не было даже тёплых вещей, мыла и еды, кроме лепёшек и чая. Мир живых в страхе отторг их. Мир живых мертвецов существовал по своим законам. Вернее без них. Отчаявшиеся люди забывали себя. В колониях процветало пьянство и разврат, от которого рождались дети. Подчас совершенно здоровые... Это был подлинный ад, в сравнении с которым война была детской игрой.

Если врач и фельдшер имели квартиры в городе, то Марию никто не пожелал приютить, узнавая, где она работает. Ей пришлось самой поселиться в колонии. Живой среди полумёртвых. Быт страдальцев повергал в ужас, и необходимо было сделать хоть что-то, чтобы его облегчить. Полетели письма в газеты с призывом о помощи. И сама ездила Мария по области, собирая деньги, вещи и продукты для своих несчастных. Иногда становилось нестерпимо тяжело. От безысходности, царившей в колонии, от её духовного наряды с физическим разложения, от страданий больных, которым она не могла помочь, и жестокости здоровых, не имеющих жалости... Находило уныние, хотелось бежать прочь из этого ада. Но вспоминала, вразумляясь, из иноческого дневника архимандрита Иосифа: «Что унываешь, душа моя! Почто думаешь, что все для тебя кончено? Господь близ тебя, ты в Его попечении. Его рука забросила тебя сюда, для твоего очищения, исправления, обновления, обогащения духовными силами и опытностью. Исполни волю Его. Будь неустанен в трудах, непоколебим в терпении, несокрушим в твердости».

Редкие письма Мария отправляла родным, приезжая в город, где её сторонились, как зачумлённой. Писала коротко, тая страшное. Лишь ему одному, ему и Сонечке она написала правду, предупредив, чтобы не говорили родным. Ответное письмо было исполнено такого преклонения перед подвигом, что Марии стало стыдно. И всё же она рада была, что открылась им. Теперь меж ними явилось ещё одно общее. Алексей Васильевич озаботился присылкой на остров книг. В том числе, духовных в укрепление страждущих. Тайно изыскивались деньги, тайно закупалось необходимое, тайно отправлялось в далёкий край...

Именно там, в «аду», Мария, наконец, обрела искомый душевный покой. Её более не страшила встреча с Алексеем Васильевичем. Между ними завязалась самая дружеская, тёплая и полная взаимопонимания переписка. И уже к нему прибегала Мария, когда возникали у неё вопросы и сомнения духовные. И он разъяснял, наставлял. Как не всякий священник мог бы. Подумалось тогда: почему он стал учителем, а не священником? Хотя... Что-то сродное есть в этих двух служениях. Воспитание душ человеческих – их суть.

По прошествии нескольких лет истомлённая физически Мария вернулась на большую землю. Бог не попустил ей заразиться смертельной болезнью, но силы её были предельно истощены, и она решила вернуться домой.

Оказалось, что и здесь, в Глинском, работы был непочатый край. Много переменялось в её отсутствие. Экономический и хозяйственный подъём, начавшийся в России с подавлением революции и её последствий, дошёл и сюда. Богатели крестьяне, строя новые дома, улучшая свой быт. Рост благосостояния умножал жажду просвещения и культуры. Свояк, Николай Кириллович, всемерно старался поддерживать и удовлетворять эту народную тягу. Но не враз же было повернуть всё! Вот и в родном Глинском – школу выстроили, а «к дохтуру» со всяким пустяком приходилось сельчанам за многие вёрсты ездить. Решил Николаша срочно заводить амбулаторию и выписывать фельдшера. Тут-то и пришлась кстати Мария со своим опытом врачебной деятельности. Конечно, оперировать сама она бы не отважилась, на то в больнице был врач, но первую помощь, но помощь при заболеваниях лёгких всегда могла оказать. Так и вверил ей свояк амбулаторию, и радовалась Мария, что нашлось для неё дело.

Врачам люди не очень-то доверяли. Особливо, если случались эпидемии. Тогда именно врачей винили в беде. Два года назад вспыхнула эпидемия холеры в уезде. Больных помещали в бараки, где многие, увы, умирали. И, вот, к этим-то баракам и полыхнула ненависть в народе. Каким-то утром ринулись толпой жечь их. Мария навстречу выбежала, на колени пала, подняв руки:

– Одумайтесь, люди добрые! Христом Богом прошу!

Мелькнула мысль тогда: растерзают, не вспомнив, скольким из них она помогала... Но нет. Утихли мужики, разошлись.

А из уездного начальства в бараки никто носа не казал, боясь заразы. Только свояк, желая примером своим успокоить народ, приезжал. Обходил вместе с Марией больных. Одаривал выздоравливающих, ободрял. А в результате слёг сам. Слава Богу, выходила его Анята...

Как-то ещё Алексей Васильевич порывался приехать. Но Мария запретила. В тот год у него родился долгожданный сын, и Сонечка ещё слаба была после родов. Только такого риска и не доставало!

А сама, как под бомбёжками в лазарете, как на острове прокажённых, день за днём ходила за страждущими, привыкая к смраду и боли... И на сей раз пощадила судьба. Смерть Марию не брала. И не приближалась, держась на почтительном расстоянии. Значит, зачем-то нужно было жить и нести на плечи взваленное.

Она успела забыть, что когда-то прекрасно танцевала, и не имела ни одного свободного танца на балах. Что любила красивые наряды. Что три года жила с мамой в Италии... На острове прокажённых однажды вспомнился Рим. Как сон невозможный. Неужто наяву было? Неужто, в самом деле, где-то есть это не знающее тоски, сияющее небо, и вечный город под ним? Может, всё это так, химера и наваждение...

В сущности, что есть Рим? Париж? Суэта, до времени тешащая взор и душу, а в итоге истомляющая её и оставляющая пустотой. Декорации никогда не дадут полноты. Полнота рождается изнутри. Полноту, не надрывно-страдальческую, военную, лепрозорную, а счастливо-возвышенную, светло-безмятежную она узнала год тому назад, когда Алексей Васильевич взял её с собой на Валдай. Хотела и Сонечка ехать, но Мишенька прихварывал, и она не решилась. Сомневался и Алексей Васильевич, но Сонечка настояла: надо ехать. И сам собирался давно, и Марочке – святыньке поклониться. Как раз Иверская к празднику Своему в обитель родную должна вернуться, посетив за лето иные города и веси.

Валдай! Никогда не видела Мария такой красоты. Как горний град Иерусалим на иконах предстал взору в закатных отблесках Иверский монастырь, словно поднявшийся из волн подобно граду Китежу. Сменяло тона небо, сменяло их следом пламенеющее озеро, а между ними нимбами светились купола, и на много вёрст струился колокольный звон. Захватило дух, навернулись слёзы. Словно бы на порог небесного Царствия ступила, заглянула за него...

На Валдае в то время уже год жил писатель Сергей Нилус, всегда почитавшийся в семье Надёжиных, имевшей с ним знакомство. Именно к нему отправился Алексей Васильевич по приезду, разумеется, взяв с собою и Марию.

Дом, в котором жил Нилус с женой, прежде занимал писатель-историк Всеволод Соловьев, написавший здесь свои известные романы. Он был расположен в живописном уголке: в диковатом парке, спускавшемся по косоугору к самому озеру, на которое открывалась калитка сада. У самой калитки располагалась небольшая пристань, от которой женщины-лодочницы перевозили богомольцев на остров, где в окружении высоченных сосен возвышался белокаменный Иверский монастырь. Дивный вид на сияющее в солнечных лучах озеро и поднимающийся из его вод монастырь открывался с балкона дома.

Сам хозяин произвёл на Марию сильное впечатление. Это был уже пожилой, но сохранивший память былой красоты, статный человек с окладистой, белой бородой и выразительными карими глазами. Несмотря на крестьянское одеяние, он всей колоритной фигурой своей похо-

дил на древнерусского боярина. Притом оказался Сергей Александрович человеком необычайно радушным и открытым. Была в нём какая-то немного детская, чистая восторженность, удивительно сочетавшаяся в нём с глубочайшим умом и даже прозорливостью.

Не менее мужа радушна и приветлива к гостям была и Елена Александровна, буквально излучавшая теплоту и участие. Эти два человека, Богом даденные друг другу, создали в своём доме удивительную атмосферу добра, искренности, живой любви к каждому. В этих стенах царил подлинно евангельский дух, от которого хорошо и уютно делалось на душе, и необычайно легко было разговаривать с ласковыми без натянутости хозяевами, словно не только что познакомились, а знали друг друга много-много лет.

В доме Нилусов было множество икон. Половина спальни их была обращена в моленную. Здесь был дивной лик Христа в терновом венце работы неизвестного итальянского мастера, от которого получил исцеление калека-ребенок. А также большой образ-портрет Преподобного Серафима, написанный Дивеевскими монахинями. В старомодном кабинете Сергея Александровича, отгороженном от двери китайскими ширмами, висел огромный образ Божией Матери Одигитрии. Здесь же развешены были и собственные работы хозяина и его жены: портреты и этюды, изобиловавшие светом, дышавшие жизнью...

Нилус рассказывал Алексею Васильевичу об обнаруженном им на Валдае дневнике выдающегося схимника-затворника, подобно знаменитому старцу Илиодору Глинскому, предсказавшего грядущую судьбу России, близкую погибель её...

Тяжелы были пророчества, но рассеяло навеянную ими печаль явление Иверской. Встречали её в самом монастыре, добравшись туда на лодке. Крестный ход встречал Владычицу на берегу. Уже стемнело, когда на фоне чернеющего водного пространства показались цветные огоньки, – фонарики, которыми была украшена лодка с иконой. Когда она причалила, крестный ход с пением понёс её в зимний храм, дорогой пронося над коленопреклонёнными богомольцами. Здесь, в полумраке, озарённом пламенем свечей, среди сотен верующих, выводящих псалмы, за высокими древними стенами, под покровом Богородицы казалось, что никакая беда не страшна Святой Руси...

Затянули, навеяв светлый сон, счастливые воспоминания, и не сразу расслышала Мария лёгкие, быстрые шаги, раздавшиеся на крыльце. Но, вот, приоткрылась дверь, и в амбулаторию вошла Аля, иногда помогавшая Марии во время приёмов. Ей нравилась эта живая и умелая девочка. Старалась научить её азам медицинским, чтобы в случае нужды сама могла бы в этой амбулатории работать. Девочка схватывала налету. Хоть и не обладала она выдающимися способностями своего брата, но зато обладала усидчивостью, волей и памятьливостью. Правда, последние дни что-то случилось с ней. Необычно рассеянна она была, невнимательна. И, вот, впервые не явилась в обещанное время... Стояла в дверях, виноватая. Косы размётанные по плечам до самых колен висят, глаза-вишни под ресницами длинными прячутся, а притом светятся тайной думой. А ведь – похорошела она? Всё вроде тоже, а неуловимая прелесть явилась. Лучик какой-то. Что же, не так уж плохо знает Мария человеческую природу, чтобы лучик этот не узнать. Кто бы мог подумать! Вчера ещё девочка была... Сама ей иногда косы заплетала, любуясь богатыми, пшенично-огнистого цвета волосами. Выросла девочка... Дай Бог, чтобы её история не была похожа на Снегурочку. Впрочем, вряд ли. Это она, Мария, боялась любить, боялась слишком сильного чувства, а Але страх неведом.

– Ты припозднилась сегодня. Что-то случилось?

– К Серёже гостя приехала из Москвы. Дочь его профессора. Я должна была помочь...

А глаза прятала. Лгать ещё не научилась. Ничего, научится. Когда душа живёт одной, главной страстью, то всеми премудростями, помогающими оной, овладеваешь быстро...

– Помоги мне, пожалуйста, расставить склянки. Нет, лучше просто расставь сама. Я что-то устала сегодня, спина болит.

Спина и впрямь разболелась не на шутку. Напоминала о себе после той ледяной переправы в пятом году... Иной раз щемило так, что и вздохнуть нельзя – пронзительная боль через всё тело.

Мария полулегла на диванчик, следя, правильно ли Аля расставляет склянки. Любопытно, кто же герой наших грёз? Уж ясно, что не Антипа-кузнеца сын. Он-то за нею второй год, как привязанный, ходит. Кто бы мог быть? Добро бы кто из своих, а то не вышло бы худо.

Внезапно мелькнула догадка. Вспомнилось, как накануне обедали в усадьбе. Родя всё спешил куда-то. Путано объяснял, по какому-такому неотложному делу должен уйти. Друг его, Никита, хотел было с ним отправиться, но и его не взял. Мол, хочет прогуляться один. А глаза-то прятал. Точь-в-точь, как Аля теперь, хоть и подпоручик. А в глазах этих – светилось что-то...

Да, нетрудно два и два сложить... Вот ещё печали не было! Если только угадала, а не головой неразумной выдумала, то беда. Николай никогда такого мезальянса не допустит. А сам Родя? Всерьёз у него или решил порезвиться в отпуске? Нет, знала Мария племянника. Не такой он человек, чтобы сердцем невинной девушки играть для своей забавы. Стало быть, всерьёз? А про неё и не спрашивать можно. Сияет вся. Скляночки ставит, а перед глазами его видит. Бедные, бедные дети...

Закончила Аля работу, подошла:

– Что-нибудь ещё, Марья Евграфовна?

– Нет, ничего, – покачала головой Мария. – Садись-ка рядом. Приберу твои кудри, как прежде бывало. Вон, как разметались они – не годится!

Аля послушно присела на угол дивана, распустила густые локоны. Пахли они лесной свежестью, и запутались в их богатстве пара мелких веточек.

– Ты как лесная царевна, Аля.

– Я нынче в рощу ходила. В божелесье. Хорошо там... Как в церкви...

Стало быть, божелесье. Роща, примыкающая к разрушенной стене, которую Родя ещё мальчиком предпочитал воротам. Всё сходится... Жаль детей. Обоих жаль. А не упредить, не помочь. Коли уж пошёл пал по сухой траве, жди пожара.

Попросила Алю растереть спину лечебной мазью, а с тем отпустила домой. Справилась ещё подробнее, какая-токая гостя к Серёже приехала. А о главном не спросила... В чужую душу что в воду – не зная брода, лучше не соваться. Захочет – сама расскажет всё. К тому же советы в таком деле давать всё равно бессмысленно. Тут сердце решает. Не рассудок. И уж паче того не чужой рассудок...

Солнце медленно клонилось к заходу, когда Мария заперла за собой дверь амбулатории и неспешно пошла по просёлочной дороге, вдыхая свежий к вечеру воздух. Неспokoйно было на душе, и хотелось поделиться с кем-то. Да с кем же ещё, как не с ним? О своём, главном, нельзя ни с кем. О прочем – завсегда с ним можно.

Инстинктивно угадала Мария, что Надёжин не дома, а в избе-читальне. Читает свежие газеты и журналы, с запозданием доходившие до Глинского. Там и нашла его. Со стаканом остывшего чая в жестяном подстаканнике и газетой.

– А, Марочка! Плохо дело, – ткнул пальцем в газету. – Пишут, что война неизбежна. Не дадут России двадцати лет покоя, о которых покойный премьер мечтал. А ведь только-только начало всё устаканиваться! А война... Мы уже видели, к чему привела она в пятом... – Алексей Васильевич хрустнул пальцами. – Неужели этих пустоголовых там ничего не учит? С семидесятых годов прошлого столетия, если не раньше, вся эта бесовская стая ждёт войны, зная, что она принесёт им власть. Ждёт, не таясь. Заявляя прямо. А дураки в высоких ведомствах словно не слышат того! Грезят о маленькой победоносной, хотя подлинно победоносных мы уже целый век не знавали. В пятом году Бог ещё потерпел грехам и глупости, ещё подал горе-

мычным последний шанс... И вот его-то теперь готовы отместить! Сорвать печать последнюю... А вокруг все словно бы и не замечают, у края какой бездны мы стоим.

Надёжин отбросил газету, глубоко вздохнул.

– Простите, Марочка... Вы, должно быть, устали? Много ли было больных?

– Больных – нет. А всё больше скучающих, – Мария присела на лавку. – Знаете, Родя, кажется, влюблён.

– В самом деле? А отчего вы так печально говорите об этом? Или его чувство не взаимно?

– Взаимно. Увы.

– Увы?

– Это Аглая. Игната-плотника дочка.

– Ах, вот оно что... – протянул Алексей Васильевич. – Что ж... Вы знаете, Марочка, я человек консервативный, но, ей-Богу, эти сословные строгости – по-моему, чистой воды атавизм.

– Хорошо, что вас не слышит Николай. Он не допустит неравного брака.

– Не допустит? – Надёжин чуть усмехнулся. – Милая Марочка, даже в стародавние времена любящие сердца изыскивали возможность соединиться. Маленькая церковка, попик... А потом – перед родителями на коленки.

– Вас ли я слышу? – улыбнулась Мария. – А как же почитание отца и матери?

– Грешен! – развёл руками Алексей Васильевич. – Но не велик этот грех, если только настоящее чувство на него толкнуло. Дальнейшая честная супружеская жизнь его изгладит. И к тому же не хочу быть лицемером. Если бы мой покойный батюшка запрещал мне жениться на Сонечке, я бы взял грех на душу. Потом бы, конечно, мы с нею покаялись, поговели... Нет, надо быть честными перед самими собой. И не осуждать ближних за то, в чём могли бы провиниться сами. Хотя бы за это не осуждать. Я вам откровенно скажу, Марочка, что, более того, если бы эти дети пришли ко мне и попросили моей помощи, то я бы им не отказал.

– Всё с вами ясно, вы скрытый либерал, – пошутила Мария.

– В наш проклятый век во всё мешается политика! Ну, а вы?

– Что?

– Вы, смиренная и богомольная милосердная сестра, как бы поступили, приди они к вам? Мария опустила глаза. И ответила, не раздумывая:

– Помогла бы...

Как бы иначе... Зная, какая это боль не иметь возможности соединиться с тем, кого любишь, не помочь страждущим так же? Может быть, ко греху большему подтолкнуть их?

– Помогла бы... – повторила тихо. – Христианство – не набор мёртвых правил... А жизнь... А жизнь нельзя измерить шкалой догматов... Такой шкалой, если использовать бессмысленно, убить можно...

– Вот, – кивнул Надёжин. – Христианство – не закон буквы, а закон любви. А все самые большие трагедии на земле происходят именно оттого, что живая любовь в сердцах иссыкает, её закон забывается и перестаёт действовать, и остаётся только палка. Жезл железный... Скоро все мы ощутим его прикосновение, Марочка.

Алексей Васильевич был погружён в свои думы, и маленькое горе двух любящих сердец, видимо, оставалось для него в тени надвигающейся мировой трагедии, которую чувствовал он с болезненной остротой.

И всё же Мария закончила:

– Завтра в усадьбу приезжают Клеменсы. Дмитрий Владимирович и Ксения.

– И что же?

– Николай считает, что Родя должен жениться на Ксении. Это их, отцов, давняя мечта – породниться. Для того-то этот званый обед и даётся, чтобы их свести. А Ксения – ангел... И её мне жалко тоже.

– Глупость какая-то, – поморщился Надёжин. – Отцы решили... Свести... А не кажется ли отцам, что молодые люди способны сами разобраться в собственных сердечных делах?

Мария пожалала плечами.

– Ладно, Марочка, не переживайте. Уладится. Смотрины ещё не помолвка. Мы с Сонечкой, кстати, тоже приглашены на обед. Сонечка, правда, вряд ли сможет прийти... В её положении, сами понимаете... Да и за детьми пригляд нужен. Девочку-помощницу мы взяли, но материнский глаз надёжнее. Так что буду я один. И буду, вероятно, скучать.

– В таком случае, предлагаю скучать вместе, – ответно пошутила Мария. – Так веселее.

– С удовольствием принимаю ваше предложение! А сейчас не откажитесь ли заглянуть к нам? На вечерний чай? Сонечка будет вам так рада! И малыши... Вы же знаете, они всегда радуются крёстной.

Как мечтала она быть матерью его детей... И стала. Крёстной. И обоих их, и Мишутку, и Машеньку, в честь неё названную, и ещё не рождённого малыша, полюбила, как родных детей. Ведь это же были *его* дети. А потому не упускала случая побыть с ними, позаниматься, повозиться, помочь Сонечке. И так вошла в семью, стала самым близким человеком, родной... И отошли, истребились сжигавшие сердце страсти. А осталась радость. За него. За его детей. И ещё радость оттого, что ему нужна оказалась, и близка. Чем, в сущности, не счастье? Быть рядом с ним... Заботиться о нём, о дорогих ему людях... Делить с ним печали и радости... Читать благодарность и теплоту в любимых глазах... Тихое, ото всех таимое счастье. И всё-таки счастье, за которое – слава Всевышнему.

Так думала Мария, сидя у пузатого самовара, весело играя с крестниками, пытавшимися вскарабкаться на неё, отнять её чётки. Переговариваясь с Сонечкой, отважившейся, несмотря на остережения врачей, на уже немолодые свои лета, рожать в третий раз. Слишком долго мечту о семье лелеяла, и теперь ничего не боялась. Уверена была, что сынок родиться. А сама бледненькая была, слабая. Пошатнулось некрепкое здоровье её. И знала Мария, что глубоко переживает за неё Алексей Васильевич. И боится. Но при ней не показывает виду, бодрится, изображает весёлость. А с Марией, отдушиной, делился самым больным:

– А что если не выдержит она? А что если с ней что? Как я без неё останусь? И дети?..

– Она выдержит, – успокаивала Мария. – Она слишком любит вас всех, чтобы оставить. И я помогу, чтобы Сонечка могла отдохнуть. Ближе ко времени к вам переберусь. И за ней ходить буду, и за детьми. И всё будет хорошо.

Это как будто успокаивало его, но Мария знала, что только видимо. И сама боль его перенимала. Его тревогами жила. Так и сроднились душами. А родство такое не дороже ли, чем беззаконные утехи, опустошающие и разрушающие близость подлинную?

В этот вечер Сонечка была на редкость весела и бодра. И от этого сразу посветлел Алексей Васильевич. И Марии на душе покойнее стало. Чудно просидели вечер вместе, вспоминая что-то весёлое. А под конец усталая Сонечка попросила мужа почитать ей что-нибудь. И он читал. Мягким, поставленным голосом. «На берегу Божьей реки» Нилуса... Сонечка скоро уснула, и Алексей Васильевич уже потемну проводил Марию до усадьбы.

– До завтрашнего скучания, Марочка?

– Доброй ночи, Алексей Васильевич.

Мягкая улыбка, мягкое рукопожатие, и дорогой силуэт, растворяющийся в ночной мгле. А завтра – совместное скучание на званом обеде... Пожалуй, это всё-таки счастье. Такое кроткое и тихое. Когда бы подольше задержалось оно...

Глава 6. Званный обед

Аскольдовы нечасто устраивали званые обеды. Уездному предводителю и отцу двух дочерей пристало бы чаще. Но Николай Кириллович презрительно относился к подобного рода развлечениям, считая их пустой и бестолковой тратой драгоценного времени. Однако в честь приезда сына решено было отступить от правил. Кроме ближайшего друга Дмитрия Владимировича Клеменса с дочерью, из-за которых во многом и затевалось празднество, приглашены были и другие соседи. С утра в распахнутые ворота усадьбы потянулись экипажи. На крыльце гостей встречал сам Аскольдов в старомодном сюртуке, который он категорически не желал обновлять. Такова была ещё одна причуда этого незаурядного человека. Он не был скуп, но в отношении себя придерживался крайнего, подчас чрезмерного аскетизма. Подобно императору Николаю Первому, он спал у себя в кабинете на узком диванчике, укрывшись жёстким одеялом из плохонькой шерсти. Пользовался лишь самыми простыми и дешёвыми вещами – никаких золотых перьев, часов с бриллиантами и прочей «чепухи», выходившей за пределы жизненно необходимого. Аскольдов крайне бережно относился к одежде, служившей ему многие годы. Веяния моды в расчёт не принимались. Для официальных мероприятий у Николая Кирилловича был парадный мундир, всё прочее почиталось им ненужной роскошью. Всем видом своим этот прогрессивный хозяин, приветствующий новшества в работе, одобряющий разумные реформы, походил на осколок времён Государя Александра-Освободителя. Заметная то была фигура: пышные усы, переходящие в густые бакенбарды, седыми кистями свисающие со щек, накрахмаленный до поранения кожи ворот белоснежной сорочки, горбоносый профиль с тонкими губами и цепким взглядом глубоко посаженных глаз, красивой формы крупный череп, гладкий и лишь сзади полукружьем обрамлённый седыми волосами. А ко всему этому безупречная военная осанка, молодцеватая подтянутость. При этом ходил Аскольдов с заметным трудом, тяжело оседая на массивную чёрного дерева трость.

Рядом с суровым мужем расточала свет и ласку Анна Евграфовна, отчего-то ассоциировавшаяся у Надёжина с цветком белой лилии, чистой, прекрасной, благоухающей. С образом Мадонны. Нет, не Богородицы, не иконы, а именно Мадонны, какой пишут её западные мастера. Светлой, но земной, женственной. В противоположность сестре, после подвигов своих до прозрачности высохшей и приблизившейся к иконописному образу, к облику Христовой невесты, какой написал её на своём знаменитом полотне г-н Нестеров...

Суетились вокруг девочки: Ольга и Варвара. Строгая, сдержанная, таившая всё про себя молчаливая Ольга, холодом отпугивающая всех женихов и словно готовящаяся повторить судьбу тётки. И Варвара – тринадцатилетний, необычайно живой и весёлый ребёнок, всеобщая любимица. Это очаровательное создание невозможно было не полюбить. Разлетались светлые искорки от неё и, попадая в души окружающих, освещали и согревали их. Вот, теперь развлекалась она тем, что заставляла приехавшего с братом молодого подпоручика играть с нею. Сдёрнула с головы его фуражку, надела на свою хорошенькую головку, припустилась бежать – а он за нею. Нет, не сердясь ничуть, а уже попав под обаяние детской непосредственности, уже забывая о собственной взрослости и чине, увлекаясь игрой, веселясь искренне.

Посмеивался Родион, наблюдая за их забавой, грозил сестре пальцем, а притом видно было – маялся. Знал ли уже об отцовских планах на свою будущность?

Эта будущность прибыла ровно в полдень. Милая барышня в розовато-кремовом платье с рюшами. Милая... Хотя восемнадцати лет очень редкая барышня кажется дурнушкой. Ксения Дмитриевна была, впрочем, куда лучше «милой». Её можно было признать красивой. Даже очень недобрый глаз не отыскал бы в её безукоризненно правильном лице изъяну. Но изъян всё же был. И заключался он именно в этой правильности, лишённой загадки, искринки, манкости.

Идеальная правильность и только. Иная не-красавица куда прекрасней кажется, потому что имеет озарённость внутреннюю, обаяние имеет. А обаяние – это не вторая красота. Это куда большее. А его-то и не досталось Ксении. И держалась она стеснённо, боясь отпустить локоть отца...

Алексей Васильевич с любопытством наблюдал за гостями, пробовал на язык рифмующиеся строчки вертящегося в голове стихотворения. Так ли лучше или наоборот? Стихов своих он не показывал даже Сонюшке, писал для себя, таил ото всех тоненькую тетрадь. И мечтал написать большее. Повесть. На евангельский сюжет о Марфе и Марии. И образы его также то и дело являлись перед глазами.

– Скучаете? – Мария подошла неслышно. Ради праздника сменила своё полумонашеское одеяние на скромное тёмно-синее платье с белым воротничком и манжетами. Уложила волосы косами на затылке. Было в ней теперь что-то от девочки-институтки.

– Заждался вас, – Надёжин улыбнулся, чуть пожимая её руку. – А ваши гости, по-моему, уже заждались обеда. Молодёжь, правда, веселится, а старикам явно недостаточно рюмки ликёра или коньяку для аппетита.

– Когда мы с матушкой жили в Риме, в моде были рауты. Никаких застолий вообще! Напитки, закуски подаёт лакей. Танцев тоже никаких. Люди ходят по залу и разговаривают...

– Должно быть, страшно уныло.

– Не то слово. Матушка говорила, что посещать их – обязанность светского человека.

– В таком случае, слава Богу, что я не светский человек.

Последним прибыл двоюродный брат Анны Евграфовны и Марочки Юрий, brave гусар Сумского полка. Надёжин Юрия недолюбливал. Своим образом жизни он всецело оправдывал ту сомнительную славу, какой пользовались гусары у благовоспитанных семейств. Самой большой страстью капитана Кулагина были лошади, которых он разводил в Глинском с милостивого разрешения Аскольдова. О лошадях он мог говорить часами и был с ними нежен, как с женщинами... Женщины также играли в жизни Юрия большую роль. Этот щедрый и весёлый красавец, прекрасно поющий под гитару жгучие романсы, легко завоёвывал женские сердца. Его репутация повесы была известна не только в уезде, но и в столице. При этом был Кулагин не зол и, в сущности, неплохой малый, а только «без царя в голове», без стержня твёрдого. Без характера. Жила в нём какая-то детскость. Но не та, наивная, чистая, а детскость балованного, капризного ребёнка, не ведающего, что шалость может быть наказана. Юрий жил весело, размашисто. Кроме лошадей и женщин в круг постоянных его занятий входили карты и вино. Кутежи, цыгане, дуэли – таков был досуг этого человека. В то же время был он обидчив и раним. Кузины не умели сердиться на него, прощая ему всё за весёлый и беззаботный нрав. Правда, мечтали, что найдётся, наконец, женщина, которая образумит его, возьмёт в свои руки. Но хотя капитану перевалило за тридцать, такой отчаянной он ещё не встретил.

Появлению Юрия, как всегда, сопутствовал шум.

– Белянка-то наша – ишь! Купца Томилова Бурана вчистую обошла! Представь, брат, два круга – морда к морде! А тот, шельмец, рвётся вперёд! Ноздри раздул, весь в пене, глаза кровавые! А то как же ему? Обидно, поди, победу отдать! Да ещё и бабе! Тысяча извинений, ме дамс! На последнем круге, кажись, Белянка-то запалилась совсем, обошёл её этот дьявол! Томилов уже и ящик шампанского получить сготовился, а на последних минутах умница-то наша – как рванёт! И обошла Бурана! Вот ведь кобыла! Во всей губернии второй такой нет!

– Ваш брат в своём репертуаре, – заметил Надёжин, следя за быстрыми передвижениями среди гостей яркого ментика и вспоминая помещика Ноздрёва. С кем говорил этот гуляка теперь? То ли к деверю обращался, то ли к той полной матроне... А вернее, ко всем разом, со всеми жаждая разделить бушующую в нём радость.

– Ребёнок... – покачала головой Марочка. – Он, наверное, никогда не повзрослеет...

Обед был подан прямо в саду, где под сводами яблонь и вишен лакеи ещё с утра накрывали длинный стол с разнообразными угощениями. Едва успели утолить первый голод, как начались разговоры. И не о делах уездных, не об урожаях, а о главном, о том, что носилось в воздухе всё последнее время – о войне. Молодёжь, как водится, горячилась. Каждый желал показать себя героем уже теперь, за этим столом, не дожидаясь боя.

– Война – это прекрасно! Война освежает силы, молодит нацию, живя её отворением крови! – витийствовал какой-то юнец. – Как гроза оживляет землю, так война оживляет нацию! Заставляет пробудиться все инстинкты, дремлющие в мирное время!

– Например, инстинкт убивать, разрушать, грабить? – неприятно усмехнулся Замётов, невзрачный инженер лет тридцати, снимавший в это лето флигель в усадьбе Аскольдовых. Злые языки утверждали, будто бы он – незаконный сын Константина Кирилловича, которому Николай Кириллович считает своим долгом оказывать определённую помощь.

– Инстинкт защищать свою землю! Сражаться за правое дело!

– Да вы поэт, кажется? – в тоне Замётова звякнула издёвка. – Что ж, отправляйтесь в таком случае на войну. Думаю, она вас быстро освежит. Особенно отворением крови путём попадания в собственный живот неприятельского штыка.

– Отправлюсь, не сомневайтесь! А вы, должно быть, рассчитываете занять белый билет?

– Мне он не нужен. Мне полагается бронь.

– Вы трус!

– Попрошу воздержаться от столь резких выражений, господин поэт. Я хоть и не дворянин, но понятия о чести имею.

Молодой романтик явно ступсывался от неожиданной отповеди желчного инженера. Между тем, тот закашлялся и, поднеся к губам платок, отошёл от стола. Надёжин успел заметить его тоскливо-озлётанный взгляд. За столом шушукались, порицая столь непатриотичный подход к войне, а Николай Кириллович, потеряв бак, сказал негромко, но отчётливо, перекрыв гомон прочих голосов:

– Всякому русскому сердцу сегодня надлежало бы не тешиться грёзами будущих побед, а слёзно молиться, чтобы не по нашим винам, а только лишь по своему неизмеримому милосердию Господь отклонил от нас эту чашу, не попустил России вступить в войну.

– Помилуйте, Николай Кириллович, вас ли я слышу? – удивился Клеменс. – Россия теперь не та, что в пятом! Мы находимся на невиданном подъёме! Народный дух... вооружение... Давно пора, ей-Богу, поставить на место зарвавшегося Вильгельма. Всех этих пруссаков, окончательному разгрому которых помешала в своё время глупость третьего Петра. Надо закончить начатое, и Россия сможет вздохнуть спокойно! Это, я полагаю, наш исторический долг. Счёт, который требуется закрыть. Вы не согласны?

– Нет, не согласен. Внешней политикой Европы стали управлять шулеры. А политика эта стала походить на игорный дом, где можно выиграть много, но скорее проиграть всё. Те, кто ввяжутся в эту гибельную, затягивающую, как омут, игру потеряют всё. А в выигрыше останутся те, кто будет стоять в стороне и говорить: «Делайте ваши ставки! Ставки сделаны! Ставок больше нет!» Я не хочу, чтобы Россию постигла участь проигравшегося до исподнего профана.

– Прости, но ты недооцениваешь фортуна, а главное боевую силу нашей армии! И патриотизм народа! – воскликнул Юрий. – Неужели ты, Николая, думаешь, что наши чудо-богатыри уступят этим заносчивым бюргерам, которых ещё Александр Невский перетопил, как слепых котят?

– Современная война, Юра, решается не солдатами. И даже не генералами. Мы, как ты помнишь, выиграли глупую балканскую кампанию, стоившую нам столько жизней. И что же? На берлинском конгрессе нам утёрли нос так, как если бы мы проиграли. От крымского поражения больше было славы, чем от этой победы. Неужели ты думаешь, что что-то переменялось?

– Как ты можешь называть глупой балканскую кампанию? – возмутился Кулагин. – Кампанию, в которой просиял гений Скобелева?! В которой весь наш народ в высоком порыве стал на защиту своих братьев?!

– Я назвал её так потому, что считаю глупыми все построения вне дома в то время, когда внутри нет порядка.

– Ну, теперь-то порядок есть! – заметил один из гостей.

– Теперешний порядок держится миром, – ответил Аскольдов. – *Миром!* Сотряси его, и рассыплется всё, потому что не затвердели стены, выстроенные убитым зодчим, не дали им времени на то. Достроить-то времени не дали... Неужели вы полагаете, что мужики будут рады, если их снова погонят серой скотиной в неведомые края устилать своими телами неведомые земли за неведомые же им интересы? Война разорит народ, неужели это не ясно?

– По-вашему, пусть себе кайзер вытворяет, что хочет? И даже – над сербами? Так? – осведомился Клеменс.

– Да, так, – ответил Николай Кириллович.

– Честь русского не может допускать подобной низости! – воскликнул Юрий.

– Это всё высокие слова. Для русского правительства не должно быть ничего более ценного, нежели жизнь русского. И жертвовать этими жизнями допустимо лишь в тех крайних случаях, когда речь идёт о жизни государства российского. А наше правительство расточает русскую кровь так, точно это вода, созданная для тушения европейских пожаров. Довольно-с! Пускай попробуют без нас!

– Кайзер всё равно не остановится и пойдёт войной на Россию!

– Это будет великая беда для нас.

– Неужели ты так боишься немцев? – присвистнул Юрий. – Помилуй Бог! Бонапарта выпроводили! А уж Вилли-то сухорукого!

– Шапками закидаете?

– Зачем шапками? У нас и шашки найдутся! И снарядики! Верно, артиллерия? – Кулагин лукаво подмигнул племяннику. – Надерём этим супостатом что положено, не сомневайся!

– Смотри, как бы вам самим чего не надрали. Шашки и пушки и у кайзера имеются.

– У кайзера нет главного! Русского народа нет! А народ наш – это, брат, такая силища, что пушки и шашки перед ней – тьфу! Игрушки! А патриотизм...

– Патриотизм народа, Юрий, это порох. Вспыхнет ярко, заискрит, бессмысленно разбрасывая искры, а смочит его водой – и сгаснет, и отсыреет.

– Это пораженчество какое-то! Что за страх у тебя перед этими бюргерами, я не понимаю?

– Немцев я не боюсь, – Аскольдов закурил трубку. – Если бы речь шла об обычной войне, то и я бы был квасным патриотом. Но эта война будет другой. В ней у нас будет не один фронт. Немцы – что ж? Случись им вторгнуться в наши пределы, мы бы их возвратили восвояси. Но они своим ударом развяжут руки другому врагу, куда более страшному и коварному. Самому опасному из всех. И этот враг не даст промаха, как уже не дал его в Киевском театре... А против него штыки, господа, бессильны. Против него действует лишь твёрдая, дальновидная и сильная государственная власть. А в ней всё меньше остаётся светлых голов...

Звякнуло где-то в конце стола приглушённое: «Распутинщина!» Аскольдов приподнял голову:

– Распутинщина – чушь. Не будь Гришки, нашёлся бы кто-нибудь ещё, к чему бы цеплялись, что бы раздували до масштабов невероятных. Не было бы распутинщины, была бы петровщина, сидоровщина... Дело не в отдельном человеке, а в системе. Неужели вы не понимаете? Гришки лишь крохотные гайки в сложнейшем механизме... А война – огромный маховик в том же механизме. А сам этот механизм... По сути своей, это бомба, которая уничтожит старый свет. Не только Россию... А весь привычный нам мир. Поэтому я против войны.

– То, что вы говорите, дорогой Николай Кириллович, отдаёт нилусовщиной, – заметил Клеменс.

«Нилусовщина», – для просвещённого либерала, кадета по убеждениям Клеменса это был штамп, произносимый со смесью насмешки и презрения. Нилусовщина, меньшиковщина... Черносотенство, одним словом. Люди, не имевшие порядка ни в душах, ни в домах собственных, расточавшие себя на фетиши и слова, утерявшие ориентиры в бушующем потоке жизни, обдавали презрением человека высочайшего духовного уровня, талантливого художника и замечательного музыканта, писателя, философа... Они, помрачённые духом, считали себя просвещёнными. А просветлённые духом виделись в их тёмных очах – помрачёнными разумом. Они витийствовали о просвещении народном, а сами несли ему – помрачение. Просвещение – свет. Свет – Бог. Нести просвещение, значит, нести свет. Один единственный. Божий. О каком же просвещении твердили люди, Бога не знавшие и отвергавшие? Вот она, роковая подмена, произошедшая ещё в минувшем веке. Набор знаний поставили выше духовного воспитания. И, вот, духовно невежественные полужайки стали почти безраздельно господствовать в том, что именуется «общественным мнением». И яростно травить всякого, кто обличал их не словом даже, но уже фактом своего существования.

В чём господа насмешники могли уловить Нилуса? Ещё на пороге первой революции он, как редко кто в России, понимал суть происходящего. Не экономическую. Не политическую. А главнейшую – духовную. И подобно Исаяи, возглашал: «Гнев Божий – над головами нашими; но как бы ни был близок он, от нашего покаяния и обращения на путь истинный зависит преклонить к себе чашу милосердия на весах правосудия Божия и отвратить гнев Господень, праведно на ны движимый.

Но возможно ли искреннее покаяние пред Богом современного нам отступнического мира?

Невозможное для человека возможно для Бога; невозможное для мира возможно еще для верующей России, донныне еще наполняющей храм Божий в праздники Господни, Богородичные и великих святых Православной Христовой Церкви.

Не то на Западе, в Европе и в ее мировых колониях: там современное политическое положение государств и нравственное состояние их граждан в массе уже достигло меры возраста, предуказанной Первоверховным апостолом языков. В стремлениях усовершенствовать свою временную жизнь и в поисках за лучшим осуществлением идеи государственной власти, могущей обеспечить каждому его материальные блага, а обществу – царство всеобщей сытости, обезверенное человечество, признав с чужого голоса своих патентованных учителей христианство будто бы дискредитированным и не оправдавшим возложенных на него надежд, обратилось к новым путям исканий. Повергая старые кумиры, изобретая новые, воздвигая на пьедесталы новых богов и создавая им храмы один другого роскошнее и грандиознее, вновь их повергая и разрушая недосозданные храмы, человечество на Западе вытравило уже из своего сердца образ Царя Истинного и с ним идею Богодарованной власти Царя-Помазанника, обратившись в состояние, близкое к анархии. Еще немного, и держатель конституционно-представительных и республиканских весов перетрется – весы опрокинутся и увлекут в своем падении все мировые государства на дно бездн мировых войн и самой разнузданной анархии. Из бездн этой анархии и должно, по Преданию святых Отцов, явиться антихристу.

Последний оплот миру, последнее на земле убежище от надвигающегося бешеного урагана – некогда Святая Русь, дом Пресвятыя Богородицы: еще в сердцах многих сынов и дочерей нашей матери-Родины жива и горит ярким пламенем их святая, непорочная Православная вера, и стоит на страже своего царства неподкупный и верный его хранитель и оберегатель, Божий Помазанник, Самодержавный Царь Православный.

Все усилия тайных и явных, сознательных и бессознательных слуг и работников антихриста, близ грядущего в мир, устремлены теперь на Россию. Причины понятны, цели известны; они должны быть известны и всей верующей и верной России.

Чем грознее надвигающийся исторический момент, чем страшнее скрытые в сгущающемся мраке громы грядущих событий, тем решительнее и смелее должны биться безтрепетные благородные сердца, тем дружнее и безстрашнее должны они сплотиться вокруг священной своей хоругви – Божьей Церкви и Престола Царского. Пока жива душа, пока бьется в груди пламенное сердце, нет места мертвенно бледному призраку отчаяния.

Ниневия падет. Ниневия идет к своему разрушению, но от нас, от нашей веры, любви и верности зависит преклонить к нам Божие милосердие и отсрочить час Страшного Суда на неопределенные сроки, которые положит во власти Своей Божественная Премудрость, безконечная любовь и безпредельная сила Честного и Животворящего Креста Господня».

В те поры Нилус искал возможности предупредить соотечественников, пробудить задреманные души. И набатную книгу свою «Великое в малом» с помещёнными в ней «Протоколами» послал несчастному князю Сергею Александровичу, желая заручиться его поддержкой. Пожалуй, никто в Императорском Доме не мог лучше понять суть полученного материала, чем Великий Князь Сергей. Человек глубоко духовный, он вдобавок в совершенстве знал Писание, богословские труды, церковную историю, а также историю еврейского народа. Его знания были столь серьёзны, что однажды молодой князь сумел одержать победу в споре с Римским Понтификом, так как лучше последнего, как выяснилось, знал историю Церкви.

Подобно самому Нилусу, Сергей Александрович был ненавидим и очерняем «прогрессивной» общественностью. Еврейство же ненавидело его особенно. Едва став московским генерал-губернатором, Великий Князь обнаружил, что, несмотря на существующую черту оседлости, лица иудейского вероисповедания, пользуясь попустительством прежнего генерал-губернатора, заселяли древнюю столицу, обзаводились доходным делом, обходя многочисленные законы. Всему этому способствовал крупнейший банкир Поляков, пользовавшийся протекцией генерал-губернатора Долгорукого. В пору правления последнего прямо по соседству с собором Василия Блаженного выросли две синагоги, еврейские кварталы расположились возле Кремля, ближайшая набережная в дни иудейских праздников чернела от скопления молящихся.

Что же сделал новый генерал-губернатор? Всего-навсего потребовал соблюдения закона и, следуя закону, в полугодовалый срок выселил из Москвы незаконно проживающих на её территории лиц иудейского исповедания, коих насчитывалось порядка двадцати тысяч, и резко ограничил запись евреев-купцов в первую купеческую гильдию, куда из-за высоких налогов не стремились русские купцы, зато стремились иудеи, коим членство в первой гильдии давало право на жизнь в Москве.

Само собой, соблюдение закона в данном вопросе вызвало всемирный гевалт. Москву тайно посетили американские инспекторы и на весь мир прокричали о «чудовищных гонениях», Ротшильды пригрозили прекратить кредитование России, прогрессивная общественность клеймила генерал-губернатора тавром «антисемитизма». Но ничто не заставило его отступить от решённого, и дело было доведено до конца...

Прочтя книгу Нилуса, Великий Князь велел передать автору одно слово: «Поздно!» Вскоре его жена собирала то, что осталось от его тела, разорванного бомбой... Бомбы разрывали верных слуг престола, а главная бомба была уже заложена под самый фундамент России, и тикали роковые часы, приближая взрыв. Только огонь оставалось поднести к адской машине, которую не хватило времени обезвредить... И, вот, теперь готовились поднести его.

Война будет организована сатанинской силой с тем, чтобы сокрушить православную Россию, разорить и подчинить её себе. Так предрекал Сергей Александрович Нилус. Но «просвещённое общество» отмахивалось. И брезгливо морщилось. И клеймило. И зубоскалило. Над

невежественным черносотенством... И «Протоколы» не воспринимали всерьёз. Что ж, их подлинность, действительно, не имела фактических подтверждений. Но суть-то – не вот ли на глазах исполнялась?

– Господь сотворил чудо, открыв России этот страшный документ, написанный не человеком, а самим дьяволом. С сатанинской злобой написанный. Чтобы все христиане через это предупреждение очнулись ото сна и сплотились между собой для спасения достоинства Христа, оставленного в наследие людям и так небрежно ими хранимого! И что же? Который год я не могу добиться, чтобы к ним отнеслись хоть сколько-нибудь серьёзно! Слепцам кажется, что подобные человеконенавистнические цели фантастичны! Как будто бы они не являются всего лишь органичным развитием тех идей, какие мы в зародыше находим в Ветхом Завете... – с горечью говорил Сергей Александрович в первую встречу с ним Надёжина.

Встреча эта случилась несколько лет тому назад в Оптиной, куда Алексей Васильевич приехал с Сонюшкой молиться о даровании детей. Нилус с женой в ту пору жил там, составляя жизнеописание святых этого благодатного места. Случайно встретились у могилки старца Амвросия, особенно почитаемого и Алексеем Васильевичем, и Сонюшкой. Гостеприимные Нилусы сразу пригласили новых знакомых зайти в гости – до вечерней службы как раз оставалось время.

Жили они в расположенной в нескольких шагах от стен обители Ювеналиевской усадьбе, названной так по имени некогда жившего здесь архиепископа Виленского, где прежде обитал крупнейший русский мыслитель Константин Леонтьев. Позади дома простирался приятный сердцу родной русский пейзаж: луг, деревенька и светлоструйная Жиздра...

Этот вид открывался из широкого итальянского окна просторной трапезной, тянувшейся во всю ширину дома. Именно здесь, за длинным столом хозяева принимали своих гостей, от простых крестьян до сановных лиц, объединяя всех своей искренней, овевающей каждого любовью.

Недолго был тот памятный разговор. Расспросили гостеприимные Нилусы прибывших об их нужде и обещали поминать в молитвах. Не умолчал, конечно, Алексей Васильевич, какое влияние имела на него нилусовская книга, прочитанная в пятом году и окончательно отрезвившая его от революционного безумства студенческой поры. Именно тогда вызрела в душе Надёжина идея, каким должно быть подлинному просвещению, именно тогда осознал он доподлинно, для чего перед тем, ещё ошущью, инстинктивно бросил столицу и отправился в деревню. Отчего спрашивается, едут в глушь просвещать народ люди, заражённые химерами революции? Отчего именно они становятся учителями сельских школ? Ретрограды грезили решить вопрос просто: к псам школы такие. Жил без них народ и дальше проживёт. Без грамоты. Меньше ереси! Тут-то – ошибка корневая! Тёмный человек – лёгкая добыча. Падок на соблазн такой человек. Чтобы народ жив был и развивался, не отставая на столетия от других, чтобы мог отвечать за себя, необходимо просвещение. Ведь человека самостоятельного, разумного не вот споят по кабакам и корчмам разные вёрткие проходимцы. Иное развитие у него. И способен он уже противостоять соблазну. А потому просвещение необходимо. Но отдать его «народникам» – погубить народ. Значит, нужно перехватить у них инициативу. И срочно. Нужны учителя, способные воспитать вверенные души в духе христианском. Этой-то идеей и жил Надёжин в Глинское, чувствуя себя одним из ратников на идущей духовной войне. Да вот только других ратников мало оказалось...

– Да, редок наш строй, Алексей Васильевич, – согласился Нилус. – Но, – твёрдо звучал красивый баритон, – отчаяние не должно посещать нас! Мы знаем, чему надлежит быть. Сам Спаситель открыл нам это. Мы гонимы – да! Оклеветаны – да! Но ведь в этом и есть исповедничество. Мы гонимы за Него... Сейчас мы уже вплотную подошли к роковому пределу. Но тем крепче нам надо держаться друг друга. И так, друг друга держась, защищать Христа. И

Его Помазанника. И чем гуще мрак, обступающий нас, тем светлее должны становиться наши сердца, дабы не позволить тьме сгуститься окончательно.

Казалось бы, так очевидны были подспудные механизмы происходящего, так ясно, к чему всё шло. Но... Очами смотрели и не видели. И напоминали лежащего на рельсах безумца, отмахивающегося от приближающегося поезда и отвечающего остерегающим его: «Не верю я в ваш поезд!»

Вот и теперь, за этим столом, не считая Аскольдова, кто же понимал это? Юнцы-офицеры, юнцы-студенты грезили о маленькой победоносной войне. О доблестях, о подвигах, о славе... И отцы их не дальше ушли. Почему-то всем им верилось, что война будет быстрой. Разгромит наша победоносная армия немцев и пройдёт по Берлину торжественным маршем. А ещё, пожалуй, Босфор и Дарданеллы будут нашими. И наш герб украсит врата Цареграда.

Больше всех Юрий горячился:

– Да плевать и на немчуру, и на жидов! Враг! Коварный! Так всем врагам врежем – не очухаются! Верно я говорю? – апеллировал к племяннику и прочей молодёжи. – Что они сделают, опасные? Россию к рукам приберут? Да кто им её даст! Русский народ не даст им! Ни России, ни Царя, ни Господа Бога!

– Русский народ, Юра, вы в окопах сгноите...

– Да когда мы сгноим-то его? Война, если она и будет, в считанные месяцы кончится! Нашим маршем в Берлине!

– Япония тебя ничему не научила?

– Это – дело прошлое! А теперь – другое всё! Это я тебе, как боевой офицер, заявляю! Мы, русские офицеры и патриоты, ни Отечества, ни Государя в обиду разным там врагам не дадим!

– Вы ещё гимн исполните, – усмехнулся Клеменс.

– А почему бы и нет? С каких это пор русскому человеку русский гимн стыдно исполнять? – нахмурился Юрий. – Я, Юрий Кулагин, за Россию и Государя всегда жизнью пожертвую, а врага не допущу! Уверен, что и все присутствующие офицеры скажут тоже! Не так ли, господа офицеры? Готовы ли вы пожертвовать всем ради России?

Эта бравурная риторика вызвала усмешливые взгляды многих, но капитан не замечал этого, упиваясь высотой собственного патриотического порыва. Задав свой сакраментальный вопрос, он переводил торжественный взор с одного офицера на другого, ожидая ответа. Наконец, Родион отозвался:

– Я не хочу давать никаких клятв и зарок. Когда придёт час испытаний для нас, тогда и выяснится, кто на что годен, и кто чем и за что готов пожертвовать. У нас в училище был один кадет... Ничем не выделявшийся. Даже слабый какой-то. Не уважали его у нас. Как-то летом он поехал домой и не вернулся. Оказалось, проезжал какую-то деревеньку, а там изба горела. А в избе дети оставались. И никто не решался внутрь броситься, в огонь, чтобы их вытащить. А Санька бросился. Спас их... Вытащил, успел толкнуть вперёд себя и на миг замешкался... Тут-то на него горящие балки и посыпались. Так и сгинул... Вот, когда он в избу-то горящую кидался, о чём он думал? А ни о чём... Не рассуждал он, чем и за что может пожертвовать. А просто так, не раздумывая, положил живот за други своя. Я не знаю, как бы поступил на его месте. Смог бы, не рассуждая, в огонь броситься или же стал бы рассуждать, стоит ли это делать, и тогда бы уж точно остался стоять на месте. Поэтому и теперь промолчу. Человек поступком определяется.

Родион говорил взволнованно, отрывисто. За столом притихли, слушая его рассказ. А когда он закончил, Надёжин протянул ему через стол руку:

– Отлично сказано, Родион Николаевич!

Юрий мгновение помялся, сбитый столь неожиданным ответом, но затем снова оседлал любимого конька:

– И всё-таки, господа, за Россию! – поднял бокал.

И вот уже вновь развивали победные планы. И пили за русское оружие. Не обращая внимания на мрачный взор Николая Кирилловича. Недёжин не стал вмешиваться в спор. В светском собрании он, простой школьный учитель, чувствовал себя чужевато. Да и кто бы здесь внял ему? Если уж Аскольдову не вняли...

– Опутал бес патриотизма толпу пиитов и невежд, – это Замётов желчно скрипнул, когда гости после обеда разбрелись по саду.

Вот уж и в самом деле... Бес... Бесы ведь и святых изображать могут, и ангелов света... И даже Господа... Что уж стоит им патриотизм отравой прелести наполнить?

– А знаете, я рад буду, когда пророчества почтенного дядюшки исполнятся, и все декорации, составляющие их жизнь, растопчут новые гунны. Тогда они узнают жизнь настоящую. Срамную в своей наготе.

– За что вы, Замётов, так ненавидите людей? – спросил Надёжин.

– За глупость, Алексей Васильевич. Вот, вас, я не ненавижу. Вы умны. И честны. Только зря вы ко всему этому отживающему обществу прикрепляетесь. Дядюшка-то ведь прав. Крахнется их мирок. И вскорости.

– А вы полагаете, что построите нечто лучшее?

Замётов поскрёб приплюснутый нос:

– Моё дело – строить дороги. А у миров слишком сложная проекция. Миры только сумасшедшие строят. Богочеловеки и человекобоги.

– Стало быть, и новый мир вам заранее не по нутру?

– Стало быть. Старый ли, новый ли... Скука-то одна и та же. Хотя понаблюдать иногда презабавно. Я, знаете ли, всё последнее время больше наблюдаю. Здесь в Глинском тоже есть, за чем понаблюдать. Поначалу-то думал, с тоски сопьюсь, пока буду здесь лечиться по предписанию эскулапов. А последнее время, знаете ли, происходит здесь разное... Помяните слово, большой скандал здесь скоро будет. И даже не один.

– Это вы о чём? – спросил Надёжин.

– А, вот, когда случится, вспомните меня, – Замётов прищурился. – Только уж я скоро уеду отсюда.

– Отчего же?

– О оттого, что слишком женский пол здесь в злобу меня вводит, – что-то неуловимо переменилось в жёлтом лице. – И отчего это, скажите, девицы сплошь на мундиры падки? Что благородные, что дурёхи деревенские. А мундиры-то потешатся и в сторону. Только им-то тешиться можно, пожалуйста! Это для других у них честь да стыд девичий! Только уж знаем мы цену их стыду... Попомнят...

Алексей Васильевич заметил, что Замётов уже изрядно пьян. Однако же, и не общо теперь говорил он. А о том, что явно жгло его, не давало покоя, оскорбляло и без того оскорблённое положением бастарда естество. Знать, болезненно уязвила его некая красавица. Отдавшая предпочтение офицеру...

– А ведь я бы с нею не так, знаете ли... Я ведь не такая скотина, как папашенька мой... И она же ведь мне казалась не такой лярвой, как папашенькины... А, может, он-то и прав... А мне, подлец, ни фамилии, ни денег... Эти здесь все вид делают, будто бы не знают... Будто не родня... Ли-це-ме-ры...

Чувствуя, что скандал может выйти уже теперь, если не в меру захмелевший инженер станет говорить громче, Алексей Васильевич беспокоило думал, как бы увести его подальше от других гостей. Но Замётов неожиданно поднялся сам, усмехнулся:

– Что волнуетесь-то, Алексей Васильевич? Думаете, я теперь буяннить буду? Дядюшкин обед испорчу? Ну, а хоть бы и так? Вам-то что за дело? До их разбитой посуды?

– А я вообще бережно отношусь к посуде. Даже к чужой.

– Да не стану я их посуду теперь бить, – махнул рукой Замётов. – Время ещё не пришло...

Он ушёл, пошатываясь, бранясь сквозь зубы. А Надёжин подумал, что не следовало бы Николаю Кирилловичу допускать близко такого человека. Селить его у себя. Хотя бы даже и впрямь был он роднёй. Того хуже, коли так. Родня – так признай и не унижай неравенством. Ничего нет дурнее в таких щекотливых ситуациях, как извиняющиеся подачки... Только распекают и злобят человека. А человек ещё к тому и непростой. Наделённый умом. И умом недобрым. И глазом наблюдательным. Вот и наблюдает теперь. Все у него, что у старой Лукерьи, на ладони. А в свой час выбросит из рукава накопленные козыри, покажет себя, отомстит.

Глава 7. Бастард

О том, кто на самом деле его отец, Александр знал с детских лет. Вернее, ещё не знал наверное, а лишь наслышан был от людей. Перешёптывались слуги: погулял, де, барин с Ани-сьей. Всего-то на месяцок летний в имение закатил поскучать, а уж не обошлось без худа. Ани-сья тот год совсем молодка была, взяла её барыня в горничные. Хороша девка! Яблочко налив-ное, спелое. Всякий бы полакомиться не отказался! Да и барин был не какой-нибудь заваливающий – орёл! Ани-сья-то и сомлела, закружилась головушка бедовая. А барин скуку развеял и в город уехал – только его и видели. Барыня как про грех узнала, так сильно огорчалась. Богобоязнен-ная старушка была, старых правил. Споро выдала замуж девку за старого лакея Порфирия. Тот в почтенные свои лета и не помышлял как будто о женитьбе. Но, однако же, как-то сговорила его барыня. Ани-сья в ту пору, сказывали, уже брюхата была. Так, видать, сердобольный Пор-фирия грех её покрыть решил, избавить от сраму и её, и дитё.

Каждый раз, заслышав эти сплетни, Саша чувствовал себя униженным. Стыдно и обидно было за мать. Но ещё оскорбительнее были вскользь пускаемые замечания: мать – смотреть любо, отец – орёл, в кого же такой невзрачненький уродился? Ни стати и дебелости отцовою не унаследовал, ни благородства черт. Сморщенный весь, жёлтый... Словно больной.

Больным он и вправду был. Ещё в детстве нечаянно придавило его шкапом – мужики тащили в дом, а мальчонку не заметили, прижали к стене. После того насилу дышать мог Саша, кровью харкал. Доктора думали нежилец, а он, что трава сорная, живуч оказался. Выжил. Да только совсем чахлым стал. И жёлтым.

Прохор растил его как родного. Старик, доселе не познавший семейного счастья, все-цело растворился в молодой жене и сыне. Жили в покое и достатке – барыня по смерти своей назначила верному слуге солидный пенсион. Саша не помнил, чтобы Порфирий хоть раз чем-либо укорил мать или дурно бы обошёлся с ним самим. Старик был набожен. Не пропускал церковных служб, соблюдал посты, читал домочадцам вслух четьи-минеи и Писание. Образом детства осталось в памяти: запах ладана, разноцветные лампадки у многочисленных икон и скрипучий голос, читающий минеи...

От домашних Порфирий требовал такого же правильного жития. И это изводило Сашу. Бога он не знал и не верил в него. Не верил инстинктивно, видя в родительской набожности неуместный пережиток прошлого, вызывающий разве что жалость. Учась в гимназии, Саша нашёл достаточно подтверждений своей правоте в книгах немецких философов, которые он старательно прятал от Порфирия.

Хоть и достаточна была их жизнь, а Сашу изводило – признай его барин своим сыном, совсем другая бы жизнь была!

Отца он видел лишь раз. Холёного, дебелого, вальяжного... Да, так держать себя невоз-можно научиться. Это природный талант. Пластика, осанка, манера... Саша одновременно ненавидел его и восхищался им. Восхищался благородной красотой и, как ни стыдно было в этом признаться, литературным талантом: отец печатался в журналах и даже издал книгу. И ненавидел за то, что сам не имел ни красоты, ни таланта. Ни даже имени. Ни даже положения. Того, одним словом, что мог дать ему отец, но что давать и не помышлял.

В имении устраивали детские праздники с подарками. Саша никогда не ходил на них. Унизительно было ему, Аскольдову, получать кулёчки со сладостями и игрушками наравне с холопами.

Перед смертью мать открыла ему правду... Подтвердила и без того известное. В то время Замётов жил уже в Москве. Служил в ведомстве путей и сообщений, а на досуге пытался изобре-татель. Чертил, вычислял. А ещё сблизился с революционным подпольем. Вначале – с эсерами.

Но они в ту пору уже миновали пик своей террористической славы, погрязли в скандалах с провокаторами. К тому же в их рядах обнаружилось слишком много полоумных и истериков, доходивших до того, что воспринимали террор, как богоугодное дело и слёзно молились, готовясь совершить свой «подвиг». Революционеров подобной конструкции Александр презирал. Иное дело были большевики, не расточавшиеся в истерических скачках. С ними можно было работать. Делать дело...

Однажды ему было приказано отнести важные бумаги на квартиру некоего высокопоставленного соратника, где оные должны были оказаться в безопасности. Каково же было удивление Замётова, когда дверь ему открыл... собственный отец! Не узнал, конечно. Да и не мог узнать – и в глаза не видал прежде. Взял переданное, укрыв в кабинете. Простился учтиво, назвав «товарищем».

Смешно вышло. Нет, если и погубит что человечество, так это глупость. Зачем, спрашивается, этому холённому барину, модному писателю революция? Чего не хватает ему? Зачем ему, лентяю, никогда в жизни не работавшему руками, рабочая партия? Рабочая власть? Скуку тешит... Со скуки-то чего не отчебучишь? И девицу невинную опозоришь, и с революционерами снюхаешься. И собственный мир предашь огню. То-то весело будет на пламень посмотреть!

Пожалуй, и сам Александр по той же причине впутался в политику. От скуки. От пустоты бездарной жизни. Одни от такой вешаются. Другие спиваются. Каждый развлекается, как может. Впрочем, любезному папашеньке и без того развлечений должно было бы хватать. Знать, гурману захотелось остренького.

В эту весну Замётов безошибочным звериным чутьём угадал приближение охранки. Нет, они не следили ещё. Не обыскивали. Ничем не проявили себя. Но он уже знал – они рядом. И потому взял длительный отпуск, сказавшись больным, и отправился в Глинское. Самая безопасная ниша. Никто не станет искать большевика под кровом предводителя уездного дворянства, известного своими монархическими убеждениями...

Здесь-то и произошло то, чего никак не мог ожидать Александр. Не мог ожидать от себя такой слабости. Не мог ожидать, что какая-то глупая химера сможет так вдруг вторгнуться в годами отлаженный механизм и всё в нём разладить. Как вредный микроб, ничтожный по виду, проникнув в организм, обращается тяжкой болезнью...

А «микроб» был так прекрасен...

Дожив до тридцати, он, разумеется, знал женщин. Но разве это были женщины... Так, шушера продажная... Никто и никогда не любил его. Не дарил ласки даром... И, вот, теперь вдруг до спазмов сердечных, до слёз постыдных захотелось этого. Обладания женщиной своей, которую любишь, а не которой платишь за удовлетворение инстинкта.

Он забросил свои чертежи и замыслы, не думал о политике, набившей оскомину. А день за днём распался себя, рисуя в своём воображении разнообразные картины – то нежные, то страшные...

И ничего не могло быть больнее и унизительнее, нежели увидеть предмет своего обожания с другим. И с каким другим! С собственным двоюродным братом! Который, в отличие от него, так насмешливо обделённый природой, унаследовал фамильное благородство черт.

Уж конечно, этот подлец, как и его дядька, не имел иных намерений, как поразвлечься во время отпуска. А она... Лучше бы вовсе не родиться на свет таким. Не томить чужие души. Не оскорблять чужих чувств собственной низостью и пошлостью, так несходственной с невинностью облика. Так и поделом же им! И иного не заслужили они, нежели помыкания!

Этим днём Замётов выпил много. Тянуло устроить какой-нибудь скандал в благородном обществе. Но удержался. Наскандалить – значит, привлечь к себе внимание. Выдать себя. А это вредно для дела. Ещё не все винтики изломал злокозненный микроб... Удалился прочь от греха. Но и не пошёл к себе во флигель отсыпаться. Слишком взбулгачен был. Надо было

вперёд дурь из ног выбить, чтобы голове легче стало. Шатаясь, добрёл до реки, бухнулся на колени, опустил голову в холодную воду а, подняв её, увидел перед собой свой «микроб»...

Она полоскала бельё, что-то напевая негромко. Даже в глазах потемнело, и представилось на мгновение невозможное... Шагнул к ней, облизнув пересохшие губы. Она подняла голову. Посмотрела без испуга, но настороженно.

– Что это с вами, Александр Порфирьевич?

– Да вот смотрю на тебя... – отозвался хрипло. – Какая ты...

– И какая же?

– Да уж не стану говорить... А что, Аглаша, ты ко всем ли такая ласковая? Или только к их благородиям? Так, может, и меня приласкаешь? Я ведь тоже благородие, не смотри, что рябой!

Аглая поднялась, отступила на шаг:

– Что это вам такое на ум взбрело? Вы бы лучше к себе пошли, отдохнули бы.

– Брезгуешь, значит, ласковая? – усмехнулся Замётов. Он уже не владел собой, не чувствовал себя, словно бы из себя вышел. Одним шагом-прыжком оказался возле неё, рванул рубашку с её плеча, так что затрещала ткань, успел поцеловать жадно. И тотчас получил удар мокрой тряпкой. И, ещё нестойкий с перепоя, рухнул навзничь.

Раскрасневшаяся Аглая судорожно оправила рубашку, выпалила гневно:

– Только тронь попробуй! Так закричу – вся деревня сбежится!

– Не угрожай, ласковая, – покривился Александр. – Ты ещё моей будешь... Попомни моё слово! Офицерик твой на благородной женится! Сосватали уже! А ты со мной ласковой будешь... Да... Добром или силком, а не будет у тебя другой судьбы! Никогда не будет!

Она не ответила. Смерила лишь полным отвращения взглядом, словно мерзкое насекомое. Подхватила корзину с бельём и побежала прочь.

– Попомни слово... – прошептал Замётов вслед и, с трудом поднявшись, побрёл назад. В усадьбу.

Глава 8. О любви

Пока домчалась до дома, едва не задохнулась. В прохладных сенях зачерпнула ковшом воды из кадки, сделала несколько глотков крупных, прыснула на лицо. Какой же страшный человек этот Замётов! Протёрла и плечо ещё, пытаюсь водой отмыть то мерзко-липкое, лёгшее на душу... Откуда он узнал?.. Неужто следил? И принял за такую, что и облапать можно, не совестясь. Сраму-то! Правда, что взять с пьяного? И себя, гляди, не вспомнит.

Но всего хуже пронзило: «Офицерик твой на благородной женится! Сосватали уже!» Со зла ли, с пьяных глаз бросил? Или..? Сжалось тоскливо сердце. Уж не с ней ли милуется теперь? Вон их сколько, благородных, в усадьбу понаехало нынче... Но неужели же так можно было обманывать? Смотреть такими глазами, такие слова говорить, обнимать так, а притом думать о другой? И с ней готовиться под венец идти? Немыслимо! Невозможно!

Но если иначе рассудить... Ведь не ровня она ему. Ведь он – барин... Может и вправду любить, а жениться на другой обязан. Разным птицам – разные небеса. Но если так, то как же жить? Если вся душа лишь им одним полна теперь? Да ведь это – нельзя. Дышать нельзя. В омут головой – и только!

Скрипнула половица. Выглянула в сени Лидия. Спросила участливо:

– Что с тобой, Алечка? Ты такая бледная...

Рванулась было душа к ней. Уж с нею-то и не поделиться? Она-то, вон, стыд девичий забыв, за братцем из Москвы приехала. И только такой чудак, как он, может не понимать, не видеть причины... Ей ли не понять?

Но сдержала порыв. И, скрепя сердце, откликнулась:

– Так... Устала маленько. Душно нынче.

– В самом деле? А я не заметила...

Где уж тут приметить, коли труда не зная. Поди весь день у Лукерьи в горнице, либо в саду с братцем просидели, покуда отец в поле работал. Чудно, что теперь здесь.

– А ты что это? Здесь? Братец-то дома?

– Он отдохнуть прилёт. Слабый он ещё от болезни... И ночью всё, говорит, работал.

– Ночью-то спать надо, тогда и болестей меньше будет, – вздохнула Аглая. Ей, за день наломавшись, к ночи одного хотелось – до постели доползти. – Давай-кося самоварчик поставим, чаю попьём... – и спохватилась: – А мачеха-то что ж? Дома нет?

– Она Игната Матвеевича проведать пошла с детьми. Обед снести... Не возвращалась пока.

Добро бы дольше не вернулась. Успела бы Аля в спокойе все намеченные на сегодня дела закончить. Нарочно с отцом в поле не пошла, чтобы с делами домашними разгрестись. Мачехе рожать вот-вот – полов не намоешь уже. Да и на реку не надо б – простынуть недолго. Успела уже Аглая сладить и со стиркой, и с приборкой, а ещё надо было варенье поставить – крыжовенное. Отцово любимое. Ягоды уже собраны стояли, а надо их было перебрать теперь, передырывать да затем и варить. Не до самоварчика тут, зря предложила гостье...

А Лидия словно мысли её угадала:

– Чаю не хочется, спасибо. Может, я помогу чем? Мне ведь белоручкой сидеть совестно. Да и скучно.

А и то дело. Вдвоём-то куда быстрее управится. Ведь и собирались – вдвоём. С мачехой. Да, вот, ушла она...

За работой отпустила немного недавняя боль пронзительная, отвлекал от неё разговор с Лидией. Говорили сперва о пустяшном. Вспомнилось Але, как впервые ей, совсем крохе, отец, уйдя работать в поле, доверил поставить самовар. Всё, как надо, сделала она – натолкала

щепы, огонь затеплила. И проворно всё – торопилась очень. У околицы пожар в самсонихином амбаре полыхнул, и уж вся деревня, кто не в поле был, сбежалась глазеть. И Але страшно не хотелось пропустить такое зрелище! Припустилась туда же. Поглазела сколько-то, как амбар тушат, и домой побежала – самовар проверить. Прибежала, а уж из собственного дома дым валит! Оборвалось всё внутри: вспомнила Аля, что забыла главное – налить воды в самовар... Он уж красный весь был! Зачерпнула воды ледяной, стала заливать – а вода из самовара, что из решета, наружу хлещет. Расплавился... Тут и отец с поля вернулся. Так стыдно перед ним было! Что доверия не оправдала. С тех пор никогда больше не убегала никуда, прежде чем по дому всех дел не оканчивала. Как бы ни звали друзья-подружки, как бы ни рвалась сама.

Вспоминала и гостя отроческие годы. Как у тётки в деревне жила. Как варили варенье у неё. Яблочное с рябиной. Да как пироги с яблоками пекли. Большая мастерица тётка была по ним. Кухарку к священнодействию этому не допускала. Что ж, варенье яблочное и Аглая варит. И печь тоже знатно умеет. Вот, после Яблочного спаса покажет искусство своё.

Говорила, говорила с гостьей, а мысли прочь летели. Как заноза в сердце свербила. Тянуло поделиться больным, совета спросить. Но робела. О самом сокровенном своём говорить всегда тяжело. Не находится слов... А потому спросила о другом:

– А что, ты Серёжу сильно любишь?

Просто спросила. Не ища окольных путей. Почему-то чувствовалось, что с Лидией так можно говорить. Без обиняков.

Та не смутилась ничуть, не перестала перебирать крыжовник, ответила спокойно, спрятав мимолётную улыбку, мелькнувшую по немного тонким губам:

– Сильно. Кабы не сильно, так не приехала бы...

– Я так и подумала. А за что ты его полюбила? Нет, Серёжа хороший, конечно... Добрый. Ласковый. Но ведь ты видишь, какой он... Чудной, сложный. Блаженный словно. Намаешься ты с ним.

Лидия улыбнулась, отчего сразу похорошела:

– Какая бы счастливая маята была! Да ведь за то и полюбила, что он такой. Особенный человек... И... беззащитный...

Это последнее с такой нежной ноткой в глуховатом голосе сказано было, что Аглая почувствовала умиление. Да, вот бы хорошая жена брату была. Аля хоть и младше его, а всегда пеклась о нём, словно старшая.

– Скажи, а если бы у него другая была? – спросила ещё, ища ответа на жгущие собственную душу сомнения.

– А она и была, – неожиданно ответила Лидия. – И незримо, видимо, будет теперь всегда.

Даже работу забыла Аля. Изумлённо смотрела на Лидию. Так легко и невозмутимо говорить о сопернице? Разве так бывает?

– А если бы он с ней? Если бы её предпочёл?.. – и стыдно стало за такой вопрос. Чай, не товарка близкая, чтобы в душу лезть.

– Если бы он с нею был счастлив, то была бы счастлива и я. За него.

– И ты смогла бы жить с этим? Без него – жить?

– Какой ты ещё ребёнок, Алечка... – это с лёгкой грустью было сказано. И с ласковостью старшей сестры. Спрашивать ещё о чём-то было неловко. К тому же на крыльце показался Серёжа, и озарившаяся радостью Лидия помахала ему рукой, зовя пособить...

Глава 9. Лидия

Само собой, профессор Кромиади не пришёл в восторг, узнав о намерении дочери ехать невесть куда. Выговорил, нервно крутя белоснежный ус:

– Запомни, мужчины не любят тех женщин, которые бегают за ними сами. А любят тех, кто заставляет их бегать за собой, добиваться их!

Это совершенно справедливое наставление Лидия пропустила мимо ушей. Мужчины... Не любят... Речь ведь не об абстрактных мужчинах, а о нём...

– Вдобавок мне совершенно непонятен твой выбор. Нет, этот юноша, конечно, исключительно одарён. Пожалуй, у меня не было более одарённого ученика... Но Лида! Одарённый учёный, если он сможет таковым стать, ещё не есть хороший муж. Из этого юноши может выйти выдающийся учёный, но путного мужа из него не выйдет, не жди. У него же мозги набекрень... Ну, что это за фортели, скажи на милость? Ведь год учёбы насмарку из-за какой-то там романтической истории! Куда это годится?

– Просто... он человек... ранимый... Тонкий.

– Конечно! Все-то лыком шиты! – развёл руками отец.

– Некоторые стреляются из-за несчастной любви!

– Зачем тебе нужен ненормальный, готовый застрелиться из-за несчастной любви не к тебе? Дочка, я ведь тебе счастья желаю. А что ждёт тебя с таким человеком? Ты представь только! Нянькой при нём станешь! Добро, если он ещё не сорвётся и всё-таки сделает себе имя... Тогда хотя бы ты будешь нянькой при гении. А если сорвётся? С такими-то заходами!

– Вот я и не позволю ему сорваться, – уверенно ответила Лидия. – А без меня он пропадёт.

– Решила добровольно обречь себя на кабалу?

– Кабала, папа, неизбежна. Та или иная. Но лучше кабала при том, кого любишь, нежели при нелюбимом.

– Если бы хоть он-то тебя любил. А ведь он тебя не любит.

– Зато я стану ему необходима...

От отца Лидия не скрывала ничего. Так повелось с самого детства. Единственную дочь, появившуюся на свет, когда ему уже перевалило за сорок, Аристарх Платонович любил самозабвенно. Он не допускал к ней гувернанток и нянек, воспитывая её сам. Он никогда не бранил её, но его укоризненный взгляд действовал на неё сильнее наказаний. Отец всегда понимал её, но его любовь никогда не была слепой. Он сумел воспитать Лидию одновременно в строгости и простоте. А, главное, сумел установить с дочерью абсолютно доверительные отношения. Отец доверял ей, не отягощая её жизнь бессмысленными запретами, порождающими лишь скрытность. А она в свою очередь никогда и ничего не таила от него, будучи уверенной, что он поймёт её.

Вот и теперь ничего не скрыла Лидия. Ни того, что любит странноватого отцовского ученика, ни того, что тот в свою очередь связан с другой женщиной. Долго ворчал отец. Но уже понимал, что переубедить дочь невозможно.

– Бесполезно и говорить с тобой! Упрямая ты ослица. Всё равно ведь по-своему сделаешь?

Лидия обняла его, ткнула носом в щеку:

– Если ты запретишь мне ехать, я не поеду. Ты знаешь. Но тогда я буду страдать...

Она, действительно, не поехала бы, если бы отец запретил. Слишком высок и непререкаем был для неё его авторитет. Но тем и крепок был этот авторитет, что отец никогда не обра-

щался деспотом. Он знал, что дочь наделена и умом, и характером, и, даже если отправится одна в такое путешествие, то не натворит глупостей и соблюдёт приличия. Махнул рукой:

– Поезжай уж. Раз так тебе надо... И скажи этому гениальному оболтусу, чтобы не вздумал впадать в отчаяние и забрасывать занятия. Я устрою так, что его переведут на следующий курс, несмотря на его фортели, если только он подготовится и выдержит экзамены за нынешний курс. Только не думай, пожалуйста, что я собираюсь унижать свои седины хлопотами об этом чуде природы по случаю того, что он приглянулся моей дорогой дочурке. Я сделаю это только лишь из-за его таланта, который не должен пропасть из-за каких-то там обстоятельств и настроений.

Лидия радостно расцеловала отца в обе щёки:

– Всё-таки я ужасно счастливая! У меня самый добрый и понимающий отец в мире!

На следующий день она уже ехала в Глинское. Теперь у неё был законный повод для столь экстравагантного визита. Она ехала, чтобы лично сообщить новость о том, что появилась возможность поправить пошатнувшиеся дела в Университете. Телеграммой не пояснишь, как должно, а письма долго идут. К тому же такая радость сообщить добрую весть лично! Конечно, белыми нитками шит предлог, но для Сергея вполне сгодится. Уже давно поняла Лидия, что к нему нельзя подходить с меркой обычного человека. А нужен особый подход...

Никогда раньше Лидия не испытывала никакого подобия романтического увлечения. Предполагала даже, что всё это книжные выдумки, которые возбуждают впечатлительные натуры, и те любят, как заметил Ларошфуко, лишь потому что наслышаны о любви. Лидия не искала любви. Не грезила о семье, хотя ни в коей мере не относилась к категории эмансипе. Просто, благодаря отцу, была она совершенно самостоятельным человеком, не ведающим скуки и одиночества. Ей хорошо жилось с отцом. В их просторной квартире на Маросейке, в старом доме с чудной лепниной. И ничуть не тяготило, что день был похож на день, потому что все эти дни были спокойны и светлы. И не надоедали друзья отца, пожилые учёные мужи, ведущие глубокомысленные беседы в зелёной гостиной. Она любила слушать их. И запоминать. Сидела тихонько в углу, вышивала или вязала, чтобы руки были при деле, и – слушала. Может, оттого, что именно в такой атмосфере прошло её детство, Лидия практически не имела друзей среди сверстников. Ей было с ними неизъяснимо скучно. Рядом с ними она чувствовала себя почти старой. А с Сергеем всё было иначе. Такой замечательный ум это был! Ум, кругозор, талант...

Но всё-таки не это оказалось главным...

В первый раз Лидия увидела Сергея поздней осенью, когда снег уже забелил улицы. Невысокий, зябко поёживавшийся в плохонькой шубейке молодой человек, до подбородка закутавший шарфом шею, он беспрестанно переминался с ноги на ногу, а при разговоре не сводил взгляда с собеседника. А взгляд был тревожный, ищущий, болезненный и в то же время светящийся умом, живой мыслью. И болезненно бледным было тонкое лицо, обрамлённое тёмными прядями беспорядочно лежавших волос. Обычно печальное, оно мгновенно преобразилось от улыбки, открытой и в то же время робкой. Что-то глубоко ранимое было во всём облике Сергея. Это был человек, лишённый покрова. Самой кожи. И от того так чутко воспринимающий окружающее. И первое движение души было при виде него – взять за руки, укутать потеплее, утишить растревоженность. Приласкать. Приголубить. Обогреть... Как ребёнка...

Спросил тогда отец:

– Ну, как тебе молодое дарование?

И Лидия ответила к его удивлению одно только, запавшее в сердце:

– Какие у него глаза... беззащитные...

И так захотелось – защитить.

Она слишком тактична была, чтобы навязываться. Слишком воспитана, чтобы сделать первый шаг, проявить чувство. Но с того самого дня уже не выпускала из виду странного сту-

дента, ревниво следя за ним, но не из любопытства, не из каких-то корыстных целей, а всего лишь с одной – быть рядом, если ему понадобится помощь.

О том, что есть другая, Лидия знала. И горько было не от факта наличия соперницы, но от того, как эта соперница изводит Сергея. За его обиду больно было. И от того ещё, что не находилось средства – защитить.

Лидия предчувствовала, чем закончится дело. Болезнью, естественно. Потому что не под силу хрупкой натуре, лишённой покровов, выдержать столь долгое и сильное нервное напряжение.

Когда предчувствие оправдалось, она сделала всё, чтобы обеспечить больному надлежащий уход. Сделала, не афишируя, чтобы Сергей не чувствовал себя, Боже сохрани, обязанным ей. Лидия часто навещала его, подолгу просиживала рядом, рассказывая что-нибудь весёлое, чутко угадывая, когда и о чём говорить, а о чём лучше молчать вовсе. За это время она, кажется, успела узнать и понять его совершенно. И окончательно уверилась, что её место – рядом с ним. При нём. Быть ему опорой, поддержкой. Оберегать, укреплять. Такому, как он, ни в коем случае одному быть нельзя. А необходимо верное и понимающее сердце рядом. Иначе быть беде...

Вот и поехала за ним, очертя голову. Просто чтобы рядом быть и выхаживать. Сергея она нашла физически здоровым, но духовно разбитым и оттого ослабевшим. Начала с того, что передала щедрое обещание отца, а затем принялась за «лечение». Важно было соблюсти такт, не позволить себе неосторожного слова, которое могло бы быть по-своему воспринято мнительной душой, играть естественность и непосредственность, весёлость и беззаботность, вовлекая в неё и его, а, между тем, внимательно следить и за ним, и за собой, чтобы не допустить оплошности.

Как будто бы удавалось всё. Сергей быстро привык к ней, поверил и, видимо, привязался. Он посвежел и ободрился. Усердно занимался, во время прогулок показывал Лидии места своего детства, с увлечением рассказывал многочисленные истории из самых разных областей... И эти перемены в нём, и временами находившая на него весёлость становились для Лидии самой желанной наградой, наградой её трудам. И ради этого можно было терпеть всё. И деревенскую жизнь, вовсе не столь близкую ей. И повинность по вечерам слушать долгие монологи Лукерьи, сплошь повторявшиеся, так как старица была не в ладах с памятью. И любые иные неудобства. Какие, в сущности, всё это были мелочи! Ведь она бы на любые жертвы пошла, лишь бы он был счастлив. И многое перенесла бы, лишь бы рядом быть. В этом было её счастье... А ещё счастье было – читать благодарность в его поясневших, успокоенных глазах. Слышать её в нотках голоса. Угадывать в нечаянном пожатии руки...

Отцу Лидия всякий день писала письма, сообщая ему обо всём, что происходило в её жизни. Из Москвы пришло краткое письмо. Совсем в духе профессора Кромиади: «Когда твой юродивый гений, наконец, созреет до понимания, какую непревзойдённую сиделку и просто-напросто сокровище обрёл в твоём лице, бери хомут и вези его сюда. Так и быть, благословлю. Что с тобой, дурёхой, делать. Живите! Глядишь, под твоим приглядом и из него человек получится...» Прочтя письмо, Лидия весело рассмеялась. Она и не сомневалась в понимании отца. Теперь дело осталось за «малостью»: чтобы понимание пришло к Сергею...

Глава 10. В саду

Высоко-высоко взлетали увитые бледно-розовым вьюном качели, а раскрасневшаяся Варюшка восторженно кричала:

– Выше! Ещё выше!

– Да ведь не удержитесь, Варвара Николавна! – смеялся Никита, ещё сильнее толкая тяжёлые качели.

– Это я-то?! Да я лучше вашего на лошади держусь! – запальчиво откликнулась Варюшка.

– Неужто?

– Не верите? Хотите пари?!

– Не спорь с ней, Никита! – подал голос Родион. – Она и впрямь как чертёнок в седле держится. Хоть без сбруи её на коня посади, так она в его гриву так вцепится, что не оторвёшь. Дядьке спасибо – обучил.

– А что сразу дядя? – обиделась Варюшка и кивнула на сестру. – Лялю-то, вот, и он научиться не смог! Едва на смирной кобылке ездит. А всё потому что лошадей боится!

– Не всем же быть амазонками, – мягко улыбнулась Ольга.

– Ну, сильнее же, сильнее!

– Вам бы, Варвара Николавна, в Москву! Зимой на Девичье поле! Знаете, какие там качели? А горки? На санях-то да с высокой горы – ух! Дух захватывает!

– Я непременно упрошу матушку поехать зимой в Москву! Вы мне покажете Девичье поле, правда? И мы с вами покатаемся с гор?!

Никита рассмеялся, отчего его неправильное, но необычайно доброе лицо стало ещё добрее.

– Милая Варвара Николавна, у меня же служба. Я понятия не имею, где буду этой зимой! Но обещаю вам, что когда-нибудь мы с вами непременно прокатимся с горы на Девичьем поле.

– Вы даёте слово? – загорелась Варюшка.

– Слово офицера!

– Ты совсем замучила Никиту Романыча, – заметила Ольга, близоруко щуря небольшие серые глаза. – Отдохнула бы и сама.

– Вечно я тебе мешаю! – насупилась Варюшка. Она ловко соскочила с качелей, ещё не успевших остановиться, и Никита галантно поддержал её. Варюшка качнулась: – Что-то голова кружится... – и Никите с сияющей улыбкой. – Спасибо!

– Выпей лимонада, – посоветовала Ольга. – Такая жара сегодня...

– Да, пожалуй, – согласилась Варюшка.

– И прикажи подать мороженое в беседку. И крюшон...

Варюшка бегом помчалась к дому, а Никита, утерев испарину, опустил на траву рядом с креслом Ольги. Очень рослый, крепко сложенный, широкоплечий, он походил на доброго богатыря из русских сказок. И оттого было особенно забавно наблюдать за тем, как вилась вокруг него маленькая, юркая Варюшка, вовлекая его в свои игры.

– Вы очень понравились моей сестре, – заметила Ольга.

– Ваша сестра – чудо, – весело отозвался Никита. – Никогда не видел столь очаровательного ребёнка! Какая жалость, что у меня нет такой сестры.

– Через год-другой этот очаровательный ребёнок станет очаровательной девушкой. Впрочем, у неё и теперь голова забита романтическими мечтаниями. По-моему, она сочла, что вы очень похожи на рыцаря из её фантазий.

– В самом деле? – Никита ловким прыжком-кувырком перевернулся через голову и теперь сидел, подогнув колени, лицом к Ольге. – Что ж, не удивлюсь, если через два-три года ваша сестра станет похожа на царевну из моих сновидений.

Он как будто бы шутливо это сказал, а в то же время серьёзно. Полусерьёзно отшутилась и Ольга:

– В таком случае, вы будете как раз таким мужем, который станет носить свою жену на руках.

Родион краем уха прислушивался к разговору сестры и друга. Он с удовольствием присоединился бы к нему, но в его обязанности входило развлекать гостью... До чего же унылая обязанность! Нарочно не придумаешь...

Ксения полулежала в гамаке. Красивая отточенной красотой фарфоровых статуэток, выполненных искусным мастером. Красотой скульптур. Картин... Но не той живой и тёплой красотой, которая притягивает и располагает к себе. О чём говорить с нею и то непонятно было. На всё отвечала она робко и односложно. А большей частью, молчала, потупив очи долу. Возможно, отнюдь и неглупа была Ксения, и добра душой. Но так глубоко запрятаны были в ней эти качества, что не отыскать. Не пробудить. Да и будить, по чести признаться, желания не возникало...

Ещё поутру осторожно уведомил родитель, что они с Дмитрием Владимировичем надеются, что Родион и Ксения в будущем составят счастье друг друга. Так дословно и объявил, огорошив. И принялся всячески расхваливать достоинства суженой. И умна-то, и набожна, и добра, и скромна, и красива, как античная богиня. А, самое главное, её отец владелец многих гектаров земли к западу от Глинского. Дмитрий Владимирович, правда, хозяин некудышный, и потому мужики окрест распустились, воруют и обманывают незадачливого помещика на каждом шагу. А уж Николай-то Кириллович порядок бы там навёл! Будьте здоровы, какой! И земля бы цвела, и мужики бы нужды не ведали, и хозяевам доход изрядный был. А тогда бы как развернуться можно! Фабрику наладить, машины закупить... Да совсем на другие рельсы поставили бы дело!

Родион ошалело слушал мечтания отца. Всё продумано и умно в них. Во всём была хозяйская хватка и рачительность. Только одно вовсе забыто оказалось, что для исполнения грандиозных планов требуется подчинить им жизни двух взрослых, разумных людей, чьи планы могут быть совсем иными. Но последнего отцу и в голову не приходило. Клеменсы, ко всему, род знатный. И Ксения весьма достойная партия для сына Николая Аскольдова.

Так сразил его отец неожиданно решением этим, словно из гаубицы точной наводкой позиции уничтожил, что и не сразу нашёлся Родион ответить. К тому же гости начинали прибывать. Совсем не время для семейного скандала. Выслушал терпеливо отцовы прожекты и решил отложить серьёзный разговор на вечер. Конечно, говорить ему об Аглае сразу лучше не стоит. Знал Родион крутой нрав родителя. Добро бы ещё оказался у него роман в Москве или Петербурге. Хоть бы и с той девицей с памятного бала. Одним словом, с ровней. Тогда бы отец поворчал, погрозил, но принял бы. Но с мужичкой дочерью... Нет, не поймёт и не примет. Никогда не примет. Оскорблением фамильной чести сочтёт. В этих вопросах прогрессивный хозяин оставался крайним ретроградом. И не спасёт даже то, что брат Алин – матушкин крестник и любимец, долгое время живший в доме почти за родного. И впервые с такой отчётливостью понял Родион тяжесть своего положения. А всё-таки надо было объясниться с отцом. По крайней мере, для того, чтобы не давать надежд Ксении и не вводить в заблуждение Дмитрия Владимировича.

– Отчего вы всё молчите, Ксения? Расскажите что-нибудь о себе?

– Что же рассказать? – удивлённый пожим грациозных плеч, покрытых старомодной пелериной.

– Не знаю... Вы живёте вдвоём с отцом?

– Сейчас – да. Мой младший брат болен. Врачи предписали ему южный климат... Он теперь живёт в Батуме. И матушка с ним.

– Вам, должно быть, тоскливо без них.

– Да, мы с папой очень скучаем. Но отец не может оставить дом... А я – отца... А мама не может оставить Лёню.

Даже говорила она медленно, без интонаций, не меняясь в лице. Родион старательно поддерживал едва теплящуюся беседу, следуя правилам хорошего тона, а сам неотступно думал об Аглае. Так и стояла она перед взором. Живая, тёплая, с крупными глазами, чуть раскосыми, что придавало лицу задорное выражение. Какое счастье было бы теперь бродить с нею по лесу, либо сидеть у омота, зарываясь лицом в шёлк её медовых волос... В третью встречу он подарил ей янтарные бусы, привезённые сестре, но не отданные сразу с другими подарками. Янтарь – этот солнечный камень как нельзя более подходил Але. Не серебро, не золото, не алмаз, не топаз... А скромный, но самый солнечный, налитый солнцем янтарь. Она и сама была – янтарной. Солнцем напитанной. И без солнца этого всё казалось погружённым в тень, в сумрак.

Вернулась Варюшка, а с нею старый, важный лакей Ферапонт, несший поднос с мороженым. Переместились в беседку, укутанную хмелем. За столом стало веселее от шуток Никиты и проказ Варюшки, от смеха прочей молодёжи и от песен всегда предпочитавшего это общество чинным посиделкам старших Жоржа, которого племянники разве что шутейно именовали дядей, так как летами годился он им лишь в старшие братья. Только Ксения оставалась меланхоличной и словно застывшей. И рядом с ней становился таким же Родион, тяготившийся мыслью о предстоящем разговоре с отцом.

Гости разъехались вечером. Ещё звучали в саду аккорды дядькиной гитары. Ещё звенел Варюшкин смех и отвечающий ей Никитин тенорок, плохо гармонировавший с его крупной фигурой. Ещё говорили о чём-то неспешно, укрывшись в прохладном гроте, мать с тётушкой Мари и Надёжиным. А отец в сопровождении двух элегантных борзых уже скрылся в своём кабинете. И, набрав побольше воздуха в лёгкие, Родион последовал за ним.

– Ну-с, что скажешь? – спросил отец, едва Родион переступил порог.

– О чём?

– О нашей гостье, разумеется.

– Скажу, что, несмотря на её красоту, эта женщина совсем не такова, какой желал бы я видеть свою жену.

– Что так? – отец надломил бровь.

– Я должен объяснять подробно? Просто Ксения не та женщина, которая могла бы составить моё счастье. А я вряд ли смогу составить счастье её.

– Основательное объяснение! Как это ты так скоро определил?

– Я взрослый мужчина, отец, и вполне знаю, что мне нужно.

– Даже так? – отец откинулся на спинку кресла, прищёлкнул пальцами по крышке золотой табакерки, украшенной эмалевой миниатюрой. – И что же тебе нужно, позволь узнать?

– Иное!

– Краткость не всегда сестра таланта. Если уж начал говорить, так договаривай, будь столь любезен.

Тон отца не предвещал ничего хорошего, но Родион решился.

– Одним словом, я люблю другую женщину.

– Вот как? И кто же она? Какая-нибудь артистка, может быть? Решил последовать примеру своего беспутного дядюшки? Так я и знал, что не стоит и представлять тебя этому паршивцу.

– Дядя Котя здесь вовсе не причём. И она не артистка.

– Кто же тогда?

– Что тебя интересует, отец? Её родовитость? Наличие земель у её родителей? У неё нет ни того, ни другого! Она не нашего круга. Но я люблю её. А остальное не имеет значения!

– Родительское благословение также не имеет для тебя значение? Или, виноват, может, ты собираешься жить с нею запросто, как твой дядя со своей подлой?

– Я собираюсь венчаться с нею.

– Никогда, – ледяным тоном отчеканил отец. – Я не потерплю мезальянсов в своей семье. Если ты желаешь связать свою жизнь с особой без рода и племени, то изволь забыть дорогу в этот дом. Тебе придётся сделать выбор. Она или твоя семья.

– Отец, слышишь ли ты сам себя? – вспыхнул Родион. – Разве на дворе шестнадцатый век? Ты приветствуешь прогресс, а сам держишься за обветшавшие обычаи, давно отжившие! Мы живём в век автомобилей, аэропланов... синематографа! В век, когда, наконец, всякий человек признан личностью, свободной и имеющий права...

– Личностей развелось немерено, это ты верно сказал! А люди-то перевелись! – отец резко поднялся, опершись на трость. Следом вскочила лежавшая у его ног борзая. – Личности всегда руководствовались долгом, обязанностями, а не похотью, которую разные шаромыжники покрывают красивым именем «прав личности». Права теперь стали на всё! Право на блуд, право на грабёж... Скоро пойдут в дома убивать и станут заявлять, что этим реализуют своё законное право! Вся риторика о правах сводится к одному единственному праву – праву на грех. Кто же дал тебе такое право?

– Мой единственный грех, что теперь я иду против твоей воли. Прости! Но идти против воли несправедливой не всегда грешно.

– Даже так? А ты, часом, не революционер ли? Сегодня отцову волю нарушить не грех, а завтра, глядишь, и приказ Государя не грех будет нарушить?

– Я прошу не оскорблять меня! Я Государю присягал, и присяге своей не изменю никогда! Но и женщине, которой я дал слово, я не изменю также. Помилуй Бог, отец! Даже в Августейшей фамилии не новость браки...

Отец не дал Родиону закончить, хватив тяжёлым набалдашником трости по столу:

– Дурак! Эти морганатические браки великих князей губят династию! Разрушают и подрывают её!

– Скорее её разрушают бесконечные браки между родственниками, коими являются все представители европейских царственных родов!

Лицо отца побелело от гнева, но он подавил в себе его вспышку. Глубоко вздохнул, снова опустился в кресло, указал тростью на дверь, велел, едва разжимая губы:

– Выйди вон. И хорошенько обдумай свою дальнейшую судьбу. Дай Бог тебе не ошибиться с выбором.

– Я уже сделал выбор, отец. Честь имею! – Родион щёлкнул каблуком и вышел из кабинета. Удаляясь, он услышал охрипший, раздражённый голос отца:

– Ферапонт! Капли мне!

И где-то зашаркали шаги старого лакея, слышавшего зов барина в любом конце дома.

Как ни тяжёл был разговор, как ни тяжёл выбор, а легче стало. Теперь уж никаких тайн! Как там у Ростана? «Приятно быть самим собой, а притворяться тягостно и тошно!» Теперь всё решено окончательно и бесповоротно. Отрезано. Завтра он увидит свою янтарную девочку. И скажет ей... О родительском гневе немного смягчит, чтобы она не слишком переживала о приносимой ради неё жертве... А потом они обвенчаются. И он увезёт её с собой... Слава Богу, он не конногвардеец. Там бы не простили мезальянса. Не простили ведь даже Бискупскому, хотя его избранницей была сама прима Вяльцева. Но в артиллерии всё проще... И Але, знавшей много лишений, не покажется чрезмерно тяжкой гарнизонная жизнь. Даже если гарнизон будет дальним, глухим. Как тот, что описал г-н Куприн в своём сочинении. Але не привыкать к тяготам, а, значит, не придётся разлучаться с нею.

Эти мысли подействовали на Родиона успокаивающе. Он вышел на крыльцо, с удовольствием вдохнул посвежевший вечерний воздух. Лишь бы дождаться теперь утра. А утром увидеться с нею, как сговорились накануне. И всё решить...

– Ты Жоржа не видел?

Не заметил Родион за мыслями своими, как Ляля подошла. Подслеповато щурила глаза с длинными веками, придававшими своеобразие её всегда спокойному лицу, выискивала запропастившегося дядьку.

– Нет... Ты в конюшне поищи. Где ему ещё-то быть?

– Правда, посмотрю там...

Ушла сестра, опираясь на изящный зонтик. Английская леди – ни дать, ни взять! Родион опустился на ступени, устремил взгляд на звёздное небо. Несмотря на утомительный день, спать вовсе не хотелось. Ум будоражили мечты и планы, и всё существо переполняло чувство неограниченной свободы, словно спутанного жеребца пустили, наконец, погулять вволю. Ах, только бы утро скорее!

Глава 11. Спящий герой

Жоржа Ольга нашла мирно спящим на длинных, как лавка, качелях. Оные были, впрочем, маловаты высокому гусару, и ему пришлось подтянуть к животу ноги. Господин капитан, как водится, «устал» от обильных тостов... И теперь отдыхал, почивая сном праведника. В стороне лежала повязанная голубой ольгиной лентой гитара. Ольга подняла её, заботливо прислонила к дереву – отсыреет ещё от росы. Надо бы в дом отнести. А то, чего доброго, гроза выдастся. Как-то тревожно нагнетались тучи, погромыхивало вдали. И комары были особенно злы, как всегда бывает перед дождём. Правда, Жоржу кровососы вовсе не мешали...

Ольга остановилась над ним, разглядывая безмятежное во сне лицо. Вздохнула. И почему он такой? Совсем не такой, как отец... Как его собственные сёстры... Ни надёжности в нём, ни ответственности. Гуляка, мот... Разгильдяй, как говорит отец. Но зато – так весело с ним! Даже ей, такой строгой и холодной, весело... И легко...

Разгильдяй... Может быть. Однако же, в Японскую трижды был он ранен. Имеет Станислава с мечами. И Георгия. Георгия... Он и сам – Георгий. Так окрестили его. Победоносец. На поле брани он, вероятно, прекрасен, как... как... Александр? Антоний? Не очень сильна была Ольга в военной истории. Да суть ли важно! Если бы хоть толика этой доблести на войне досталась и мирной жизни. А то... Уже тридцать пять ему, а он всё капитан. Капитан «по второму разу». А всё потому, что разжаловали в своё время в поручики за дуэль. Из-за дамы, разумеется... Таких историй у Жоржа не одна была. Но дотоле сходило с рук. А здесь не сошло. Добро ещё не уволили из полка...

Тридцать пять! У других уже в эти лета – семейства, свой дом, карьер... Основательность. А Жорж и теперь мальчишкой оставался. Не жил, а словно только лишь репетировал жизнь, черновик писал. И не думал вовсе о дне завтрашнем. «Без Царя в голове» жил.

Война – вот, где, по-видимому, он был на своём месте. А в мирном времени скучал и оттого дурачился, развеивал скуку, как умел. Щекотал себе нервы. Широкая душа требовала яркой жизни. А как сделать её, серую и однообразную, яркой? Да вот так: бесшабашной лихо­стью, озорством...

Иногда Ольга завидовала Жоржу. Вот, забыться бы, как он, и вырваться прочь из скучной обыденности, чтобы запестрела жизнь, заиграла разными красками! Хоть ненадолго... А там – не всё ли равно? Не жаль уже жизни этой будет.

Ей самой уже двадцать пятый шёл. Чуток ещё – и старая дева. Синим чулком, поди, и теперь за глаза называют. Яркая жизнь! Нашла о чём мечтать, бледная моль, мышка серая... Варюшка подрастает – загляденье, а не девочка. А Ольга? Эти белёсые волосы, эта бледная кожа, эти блёклые, близорукие глаза... Господи, да разве можно и мечтать о чём-то с такой внешностью? Да и с характером... Это Шура, подружка детских лет, из дома укатила учиться да и «пропала» – ушла в революцию. Стала жить с каким-то эсером, сойдясь «из любопытства». Невенчанная – Бога окончательно объявила предрассудком. И все прочие основы к той же категории отнесла. Чем не яркая жизнь? Потом, правда, эсерик её бросил. Не то она его. И появился у неё новый полумуж – тоже из соратников по борьбе. С ним и сосланы были. И в Швейцарию сбежали (кто из этих ссылок не бежал?). А в Швейцарии его законная с двумя детками уже давно проживала. Так и ничего. Вместе стали жить. Без предрассудков! Мать законной за детками ходила, а они втроём спасали Россию от векового гнёта... Потом на время и ещё один «спаситель» присоединился к ним, и Шурочка «стала от него почти без ума»... Яркая жизнь! И без предрассудков! Это тебе не картинки рисовать и перед образами поклонны класть бесцельно, блуждая мыслями далеко-далеко, так подчас далеко, что на исповеди язык костенеет признаться... А только тошнёхонько от той яркой жизни... Ни любви в ней, ни веры.

А физиология и одержимость. Это Ольга, подружкины письма читая, явственно почувствовала. И дело не в предвзвесах. Не в венчаниях и прочих законах. Пожалуй, и Ольга в душе не строгих правил на этот счёт была, чувствовала, что и сама в такой грех могла бы впасть. Да ведь не из любопытства же! И не из идейных соображений...

Двадцать четыре года... Что-то это да значит. Для женщины – особенно. Женщины взрослеют раньше. И стареют – тоже... И знакомые, и родные считали Ольгу слишком холодной и рассудительной, бесстрастной, скупой на ласку. Считали, что с таким темпераментом она не может всерьёз увлечься, полюбить. Считали, что просто недоступны её сердцу такие чувства. Подруги удивлялись такому душевному устройству, негодовали, жалели и даже завидовали: не знать тебе, Ляля, наших мучений, счастливая! Этим своеобразным устройством объясняли и отказы нескольким претендентам на её руку. Такое холодное сердце попросту никто не способен завоевать.

И лишь сама Ольга знала, что сердце её давным-давно завоёвано, а холодность – всего лишь маска, призванная скрыть тайну...

Конечно, это страшно банально – полюбить красавца-гусара, сердцеда и удалца. Таких женское обожание окружает и в жизни, и в романах. Но обожание такое – удел дурочек. А Ольга всегда считалась умницей. Ну, знать, на всякий ум своя глупость сыщется.

С детства памятно было: самый большой праздник, это когда «дядинька» приезжал! Прилетал на изумительном сером в яблоках коне. Такой подтянутый и ловкий! В таком изумительно нарядном мундире! Пропахший флёрдоранжем и дорогим табаком. Шумливый, весёлый, рассыпающий шутки и уморительно смешные истории, которые он умел показывать в лицах! Да с неизменно щедрыми подарками всем членам семьи... Для мамы двоюродный младший брат был всегда, как любимый племянник, к которому относилась она с материнской теплотой. А для Ольги...

Восемь лет назад он приехал в Глинское с войны. Впервые подавленный. Впервые лишённый обычной быстроты и подвижности из-за серьёзного ранения. Вынужденное соблюдение режима страшно тяготило его. Рвалась беспокойная душа в город, к цыганам, просто проскакать галопом несколько вёрст... А к тому тошно было от поражения, от унижения России. Словно зверь в клетке, Жорж не находил себе места, тосковал. А пятнадцатилетняя Ольга старалась его чем-нибудь развлечь. Да только худо выходило... Что она, девчонка, знала тогда? Что понимала? Что умела? Кроме главного... Двоюродный дядька – чай, не такой близкий родственник, чтобы нельзя было в брак вступать? Правда, о браке и думать не приходилось – какая уж она ему пара? Он на неё иначе, как на девчонку, и не поглядит... А всё-таки думалось. И о том думалось, что будет, если он женится на другой. Ольга заранее ревновала и оплакивала свою участь.

Однажды Жорж учил её ездить верхом. Ах, оказаться бы ей хоть такой же ловкой амазонкой, как Варюшка! Так нет... Ольга боялась лошадей. Боялась ездить верхом до головокружения. И лишь для того, чтобы побыть рядом с Жоржем, преодолевала этот страх. Боролась с собственной неловкостью. Но малы были успехи, ничтожны... И учитель рукой махнул:

– Лучше картины рисуй! Для лошадей характер нужен. И любить нужно лошадей!

Ольга только виновато потупилась и вздохнула. А ночью горько плакала в подушку от досады на себя...

Ни одна живая душа не знала об этих слезах. Восемь лет, а то и дольше, Ольга хранила свою тайну. На это твёрдости и бесстрастности хватало. Её внутренняя жизнь шла своим чередом, неведомая никому, не имеющая отражения в жизни внешней.

А Жорж оставался прежним. Не женился, не остепенялся. Всё чаще схватывались они с отцом, не терпевшим праздности и беспорядка. Вот, и за обедом схватились опять. Из-за войны. И не впервой на эту тему. Любил «дядинька», что греха таить, красивые и пафосные

речи говорить. А отец таких речей на дух не выносил. Ругал свояка пустобрёхом. А тут начал Жорж своими доблестями хвастать и о патриотизме народном говорить. Отец бросил желчно:

– Ты свой патриотизм в кабаках прокутил да у девок подлых в постелях оставил!

Умел-таки словом припечатать хуже кулака... Жорж от него весь красный выскочил. Добро ещё отходчивый был, не злопамятный. На другой день уже с отцом как ни в чём не бывало говорили...

Только Ольге от этих слов, случайно услышанных, обидно было. Что станет с ним, если и дальше так жить будет? Беспутно? Не доведёт такая жизнь до добра... А ведь хороший он. Душа у него хорошая, добрая, незлобивая. И храбр. И щедр. Только стержня нет. Вот, и болтает его. И души нет близкой... А разве возможно, чтобы и не нужна была? Всем такая душа нужна. Может, ещё не понял этого, не ощутил. Но придёт время – ощутит. Лишь бы не слишком поздно.

Ольга осторожно отбросила завитой вихор со лба Жоржа. Он лениво шевельнулся, проворчал что-то неразборчивое. Но не проснулся. Ольга покачала головой и вздохнула вновь. Неисправим! Взяла гитару, взглянула на небо, с которого сорвались первые капли дождя, направилась к дому. Наказала встреченному Ферапонту:

– Юрий Алексеевич в саду задремал...

– Известное дело! – кивнул понимающе старый слуга, шевельнув белыми, клочкастыми бровями.

И снова обидно стало. И стыдно даже. Прислуге и то – «известное дело»! Господи, ну, почему именно этот человек так безраздельно занял её «холодное» сердце? Ведь стыд, стыд...

– Я к тому, что дождь... Простынет... Ты распорядись, чтобы...

– Не беспокойтесь, барышня. Сейчас скажу Гавриле: он барина живёхонько в дом переместит.

– Спасибо, Ферапонт.

Стыд... Стыд... И никакого исхода этому!

Глава 12. Воскресение

Чудным образом иногда оборачивается жизнь. То задавит так, что вздохнуть нельзя, и на каждом, даже самом малом и робком шагу норовит подножку поставить, и раздаёт тычки с щедростью злой мачехи. А то нежданно в тот самый миг, когда уже идёшь ко дну, и не осталось сил, чтобы позвать на помощь, и лишь отчаянно ловят воздух губы – кто-то неведомый протягивает тебе спасительный багор, а то и руку и вытягивает на берег... И что за чувство неопишное – спасённого утопленника, оказавшегося на берегу! Какими радужными гранями сияет для него всё вокруг! Он лежит неподвижно, глядя на небо, которого уже не чаял увидеть и жадно-жадно дышит, понимая впервые, какое это великое счастье – просто дышать. Просто жить. Просто видеть солнце над головой, и траву, и лес... Господи, как же велик Ты! И как мы ничтожны, что всё это необъятное, прекрасное, Тобой, многощедрым данное, смеем не замечать, не ценить, не славить за него Твоё Имя денно и ночью, а вместо того погружаемся в суету и оскорбляем Тебя унынием наших слабых душ...

Когда в кругу убийственных забот
Нам все мерзит – и жизнь, как камней груды,
Лежит на нас, – вдруг, знает бог откуда,
Нам на душу отградное дохнет,
Минувшим нас обвеет и обнимет
И страшный груз минутно приподнимет.⁴

Нечто подобное испытывал теперь Сергей. После мрака и безысходности последних месяцев он, наконец, вновь научился различать окружающие предметы, дотоле бывшие словно в тумане, радоваться погожему дню и иным светлым моментам. И не надо было больше прятать взгляд от отца. От прочих. Лгать и терзаться мыслью: что же дальше? Как же выйти из этого тупика? Добрый гений тихо устроил всё без его ведома, ни о чём не спрашивая, не тревожа и ничего не прося взамен. Полнилась душа чувством благодарности, не находившем выхода. Ах, какое славное чувство оказывается! Быть *благодарным*... Не должным. А именно благодарным. Долг тяготит и угнетает. Благодарность возвышает и согревает. Благодарность – радость сердца. Его тепло и свет. Долг – кабала...

Словно после тяжёлой болезни, Сергей снова осторожно нащупывал почву под ногами, приводил в равновесие душу. И всё это время рядом был человек, заботливо поддерживающий его под локоть на столь трудных первых шагах. Словно Ангел-Утешитель с неба сошёл...

Он всегда трудно и долго сходилась с людьми. А с нею сошёлся легко и как-то сразу. Может, оттого, что она не пыталась показать себя, настоять на своём, выставить напоказ свою самость... И, главное, не пыталась его переделать по образу и подобию своему, подгоняя под идеал. Принимала его таким, какой он есть. Непритворно сочувствуя, но не ударяясь в то слезливое жаление, которое только хуже расстраивает. На такое жаление щедры бывают деревенские бабёнки. И не вот взаправду сочувствуют, а такой плач подымут, так зажалют тебя, что ты, и самую малость занедужив, почувствуешь себя на последнем издыхании.

Лидия тонко чувствовала грань. Чувствовала меру. Во всём. Всегда. И никогда не покидала её спокойная рассудительность, умиротворительно действующая и на Сергея. Чувство меры и такт, умение слышать другого, а не себя даже без слов, умение вчувствоваться в другого человека – великий дар. Важный для всех, но для женщины особенно. Женщина должна нести мир... Быть мироносицей. В этом высшая её суть. Неискажённая. Но не так часто можно встретить таких...

Ни с кем и никогда не было Сергею так легко, как с Лидией. С ней естественно было говорить обо всём, делиться наболевшим, не стесняясь, не ожидая тычка. Так делимся мы лишь

с самыми близкими и родными душами. А у Сергея таких и не было никогда. Ни с крёстной, ни с отцом, ни с сестрой не мог он быть откровенен. Никого ближе их не было, но не было и с ними той степени духовного родства, когда не остаётся преград. Оттого-то всю жизнь не покидало Сергея чувство глубокого сиротства и одиночества в этом мире. И, вот, нашлась душа, которая одиночество эту разделила, сняла печать молчания с сердца и уст. И словно тяжёлый камень с груди отвалила...

Теперь она сидела на траве, прислонившись спиной к толстому стволу кряжистой сосны, а он лежал, положив голову на её колени и чувствуя, как её мягкие пальцы ласково ерошат его рассыпчатые волосы, то зарываясь в них, то просто глядя. На душе царил мир и покой, казавшийся подлинным счастьем после стихий прошлых месяцев...

Впереди расстилалась равнина уже скошенного луга, на котором высились высоченные снопы, смётанные столь крепко, что казались ровно прилизанными, монолитными, как холмы. Плескался весело ручеёк в ложбине, поблёскивал на солнце искрами. Вдали по тропке проковыляла старуха с несколькими козами. Молодая серенькая козочка отбилась от других, приблизилась, и Лидия поманила её рукой. Но та, помявшись несколько мгновений и попробовав листы росшего неподалёку куста, припустилась догонять своих. Бабка сердито ругалась на них и то и дело с любопытством покашивалась на Сергея с Лидией, наверное, в душе ругая их, как и своих питомиц, дармоедами. Или как мачеха – дачниками.

Сергей теперь лишь на ночь приходил домой да и то ночевал в амбаре, подальше от шумливой мачехи и малышни. Благо ночи стояли тёплые, сухие. В душном доме в такие не выспишься. Да к тому когда крики и плач вечно слышатся. Не выспишься, не помечтаешь. Вот и стервилась мачеха:

– Приехали! Дачники! Люди в поле спин не разгибают, а эти...

Отец осаживал жену. Сын после болезни приехал, ещё не поправился. Да и уезжать ему скоро к наукам своим. Пусть уж отдыхает. Нам-то, мать, его наукам не научиться, так уж не требуй с него нашего труда. А сам, когда раз Сергей расфилософствовался на тему справедливого устройства жизни в деревне, отрезал:

– Ты, сынок, сперва поживи-кось в деревне, да хозяйство не языком, а руками своими белыми да нежными пощупай, а там и рассуждение имей, что здесь справедливо. Вот, нагорбишься цельными днями без продыху, не одну рубаху потом и кровью вымочишь, а потом и рассудишь справедливо, что надобно бы своим кровным добром с неимушшими делиться, которые ворон шшитают! А я, лапоть, послушаю! А откуда зелен ешшо суждение иметь! И запомни. Учёный муж – это вот тот, что, как агроном, которого барин привёз, об улучшении земель и растений радеет. А как справедливо чужим хлебушком распорядиться – на это-то охотников и умельцев хоть отбавляй. Один чугунок сварит, а десяток уже с ложками бежит! Вона! Авдотьян дурак, Тришка, мычит только, ничегошеньки не смыслит, не умеет, а и тот сообразил, как ложку себе вырезать! Шшоб чужие шши хлебать! Постучит убогой и ложкой своей уже в чугунок лезет! Тем и сыт! Дурак дурак, а о пузе-то своём соображение пушше умного имеет. Вот и вся тебе наука про справедливость!

Обидна была немного такая отповедь, но признал Сергей: прав отец. Не ему, земли не знавшему, здесь распорядиться. И больше подобных разговоров не заводил.

Лидия смотрела то вдаль, то на Сергея. И он, быть может, впервые внимательно рассмотрел её лицо. Особенное было это лицо. От отца Лидия унаследовала смуглую, матовую кожу, тёмные с рассеянной грустью глаза и продолговатость правильных, породистых черт. Нос был с едва приметной горбиной, а губы немного тонки. Пожалуй, отчасти портил лицо излишне волевой, тяжёлый для женщины подбородок.

И для чего такой женщине понадобилось бросать все дела и знакомства, ехать в глушь и столько времени тратить на него, злополучного? Дружеское участие? Веление милосердного сердца? Скреблось в душе робкое предположение, что не в этом причина. Но в настоящую

так трудно было поверить. Она, дочь известного московского профессора, может найти себе отличную партию! А он? Что может дать ей он? И не решался заговорить, боясь показаться смешным, прочесть недоумение в лице Лидии, нарушить тишину их простых и откровенных отношений...

– Скоро уже август, – вздохнул Сергей. – Надо будет возвращаться в Москву...

– Тебе так тяжела эта мысль? – спросила Лидия с лёгкой, неизменно ласковой иронией.

– Не скрою, немного боюсь. Что там будет? В Москве?

– Ничего не будет. Будешь учиться, потом станешь работать вместе с отцом, если захочешь, конечно. С твоими-то способностями – чего же бояться? Ты ещё будешь самым молодым профессором и порадуешь нас замечательными работами по русской словесности.

– Ты так думаешь? – с сомнением спросил Сергей.

– Ни мгновения не сомневаюсь. И тебе не советую.

– Не знаю...

– Чего ты, собственно, боишься? Отец в тебе уверен, а уж он-то ошибиться не может. Он говорит, что ты уже теперь при желании мог бы окончить полный курс экстерном и приняться за магистерскую диссертацию.

– Откровенно говоря, боюсь я самого себя... – признался Сергей. Никому другому не стал бы верить сокровенное. Но ей-то – можно? Она-то поймёт? – Несчастливая у меня звезда, Лида. Меня однажды Анна Евграфовна в огорчении «двадцать два несчастья» назвала. Помнишь, в «Вишнёвом саде» у Чехова? Всё-то нескладно у меня, всё невлад. Вот и боюсь. Сам спутаюсь, тех, кто поверил в меня, подведу. Уже раз подвёл твоего батюшку... Признаться, думал, он и видеть меня не захочет. Совестно на глаза показаться.

– Ты плохо знаешь папу. Он для своих учеников всегда был отцом родным. А уж с теми, в ком искру видел, возился подчас и больше отца.

– Я в неоплатном долгу перед ним... перед тобой...

– Мы должников не любим, Серёжа, так что оставь эти глупости. Не хочешь же ты нас, в самом деле, обидеть?

Сергей благодарно пожал руку Лидии. По её губам скользнула тонкая улыбка:

– Это всё, что тебя тревожит?

Нет, не всё. Было ещё другое. Страшился Сергей снова встретить в Москве Лару. Так сильна была боль, что, казалось, одной единственной случайной, мимолётной встречи достаточно, чтобы вспыхнула она с новой силой. Но об этом неловко было сказать даже Лидии... А она вдруг проронила тихонько, глядя в сторону:

– Её теперь нет в Москве. Они уехали... С мужем. В Париж.

– О ком ты?..

– О той женщине... Ты ведь о ней подумал сейчас.

– Ты права, Лида... Спасибо, что сказала...

– Теперь тебя более ничего не страшит в Москве?

– Страшит... – Сергей, наконец, собрался с духом. Признаться, издали подступая к главному. – Одиночество...

Лидия помолчала немного, откликнулась с приглушённым вздохом:

– Одиночества и я боюсь... Человек не должен быть один. Если только он не святой жизни пустынный... – она помолчала ещё. Затем сказала: – Ты остановись на сей раз лучше у нас с папой. Мы тебя приглашаем. Как гостя. Как друга. Ты же видел, какие у нас хоромы. Поселишься в одной из комнат. Например, в угловой. Она небольшая, но светлая, уютная. Никто бы тебя не тревожил там. Ты сможешь пользоваться нашей библиотекой. Ну, и я, если что-то нужно, всегда буду рада помочь.

Осторожно последнюю фразу сказала, обдуманно, взвешенно. Не перегибая. И в то же время давая знак... Или никакого знака не было? Дружеское участие отзывчивого сердца?

– Мне неловко злоупотреблять вашим гостеприимством... Это же уже... иждивенчество какое-то...

– Ну, если не желаешь быть гостем, то можешь снимать у нас комнату за ту же плату, что в Брюсовом. Я тебя очень прошу, Серёжа, не отказывайся! Ну, хотя бы из уважения, из дружбы ко мне... Ведь, если ты поселишься в другом месте, то мне придётся постоянно ездить к тебе. Даже в дожди и морозы.

– Для чего же тебе так себя утруждать?..

– Да уж для того, чтобы спокойной быть за тебя. Знать, что ты благополучен. Не имеешь ни в чём нужды. Я ведь без такого знания и заснуть покойно не смогу.

Вроде бы снова иронично, нарочито легко это сказано было. И опять заскребло на сердце: не шутит ли? Боязно обжечься... Особенно теперь...

– Для чего же тебе так тревожиться обо мне? Я этого не стою. Впрочем, вряд ли ты стала бы долго меня навещать.

– Отчего так?

– Тебе бы скоро надоело это. Я бы тебе наскучил. Я ведь не слишком весёлый собеседник, ты уже заметила.

Тоже тон ироничный поддержал, боясь раскрыться. Но при этом нечаянно крепче руку её стиснул. Ловил тревожно всякую тень на её лице. А оно вдруг погрузнело. Лидия покачала головой:

– Ничего-то ты не понимаешь... Ты мне не наскучишь. Разве что я тебе своей навязчивостью надоем, и ты меня с порога погонишь.

И эти слова она пыталась лаком иронии покрыть, но худо вышло. В них и волнение провалилось, и боль затаённая. И Сергей решил довести разговор до конца. Он нарочно не смотрел на неё, не принимал подобающих моменту поз, лишь не отпуская из своей ладони её крупную, мягкую руку.

– Лида, а что если бы я сказал тебе, что хочу, чтобы ты и впредь рядом была? Как последние дни эти...

– Я бы ответила: слушаюсь и повинуюсь!

Кольнуло снова: всё-таки шутку шутила?

– Лида, да ведь я же серьёзно...

– И я не шучу, – серьёзно откликнулась Лидия.

– Ты, в самом деле, не шутишь?..

– Господи! – вырвался вздох. – Вот уж я сама приехала к тебе, забыв все правила хорошего тона. Живу здесь столько времени, не обращая внимания на косые взгляды... А ты всё не можешь поверить. Какой же ты...

– Какой? – спросил Сергей, неумело пряча улыбку.

– Да уж какой есть... Вот, и опять договорить не решаешься...

Он и впрямь не находил слов, какие следовало дальше сказать. Говорить о любви не мог ей. Костенел язык, и без того для таких речей негодный. А она и без слов понимала всё.

– Значит, самой мне придётся... Ты не любишь меня, Серёжа, я знаю. И её ты никогда не забудешь. Это я тоже знаю, и лучше тебя. Но для меня это всё маловажно... Если хочешь, я просто при тебе буду... Не знаю, кем... Другом, сестрой, помощницей... Это ни к чему не обяжет тебя. И если ты решишься... В общем, если встретишь другую, то я не буду претендовать... Отойду в сторону. Пойми, мне ведь только то важно, чтобы ты счастлив был... А кем при этом быть мне... – Лидия развела руками и, прежде чем она закончила на редкость сумбурную для себя речь, Сергей выдохнул, приподнявшись:

– Я хочу, чтобы ты была мне женой! – и добавил: – Хоть я ничем и не заслужил такой жены...

Лидия склонила к нему лицо, так что её волосы коснулись его щеки. Затем отстранилась на мгновение, глядя испытующе. Покачала головой, улыбаясь и лаская взглядом:

– Неужели дождалась... – и рассмеялась радостно.

Сергей чувствовал, как и по его лицу растекается счастливая улыбка. Подумал, что, должно быть, имеет теперь глупое выражение. А Лидия уже порывисто обхватила ладонями его голову, и он почувствовал тёплое прикосновение её губ к своему лбу... В этот миг Сергей поверил, что его и в самом деле ждут большие свершения, а пережитые невзгоды были лишь школой, закалкой, трамплином для будущих достижений. И кто знает, может, его ожидает поистине выдающаяся судьба. Всё возможно, если рядом будет такая спутница...

Глава 13. Измена

Она не пришла. Ни в это утро, ни на следующее. Ни на третий день... Родион не находил себе места, строя всевозможные предположения, ища разумные объяснения. Но их не нашлось. Вдвойне мучительно было от невозможности с кем-либо поделиться тревогами. Он хотел уже идти в деревню, искать Алю, но вспомнил, как она боялась пересудов. А ведь как не возникнуть им, если ни с того, ни с сего барин начнёт разыскивать одну из девушек? Честь женщины превыше всего...

На четвёртый день Родион отправился в амбулаторию к тётке Мари, зная, что Аля помогала там. Но, увы, тётка была одна. И возилась с беспрестанно орущим ребёнком, рядом с которым суежилась молодая, явно с трудом понимающая слова тётки, мамаша. Ребёнок видимо задыхался и весь посинел. Родион вышел на крыльцо, ожидая, когда процедура закончится. Наконец, крики прекратились, раздался благодарный бабий говор, и тихий, усталый голос тёти Мари. Когда баба с ребёнком вышла, Родион вновь зашёл внутрь. Тётка с утомлённым лицом, время от времени подёргиваемым пробегавшей от боли судорогой, полулежала на кушетке.

– Рыбья кость... – сказала она.

– Что?

– Ребёнок у неё подавился рыбьей костью. В горле застряла. Такая большая и острая... Думала, не смогу извлечь... А он бы до больницы не дожил, бедняжка...

– Ты совсем изморилась. Где же твоя помощница? – осведомился Родион, как будто невзначай.

– А она как раз в больницу поехала.

– Заболела?..

– Нет. Просто лекарства у нас кончаются. Я и отправила её...

– И что же, она до больницы три дня едет? – спросил Родион и осёкся, поняв, что выдаёт себя этим вопросом.

Тётка не шевельнулась.

– Почему три дня? – уточнила.

– Нет... Это так... К слову... Я хотел сказать, что до больницы не три дня езды, должно быть, к вечеру обернётся твоя помощница.

– Может быть... – неопределённо отозвалась тётя Мари.

А может и не быть? До больницы и назад одним днём завсегда оборачивались. А что же с остальными днями? Почему вдруг исчезла? И даже предупредить не улучила возможности? Терялся Родион в догадках и подозрениях. Впору было занять наблюдательный пункт рядом с амбулаторией и ждать приезда Али. Но и этак тоже нельзя. Больно видное место, не затаишься...

Решил Родион последний день выждать, прежде чем к крайнему средству прибегнуть.

На другое утро он снова ждал Алю у омота. С надеждой вслушивался в каждый шорох, всматривался в белоствольную чашу – не мелькнёт ли родной силуэт? Но напрасно... До самого заката прождал Родион и, словно в бою подстреленный, побрёл домой, где предстояло снова делать вид, будто ничего не происходит.

– Ну, вот, на охоту пошёл, а ничего не принёс! – Варюшка насмешливо встретила. – Аль стрелять из ружья разучился? Только из пушки теперь можешь?

– Да-да, только из неё родимой... – ответил ей рассеянно, боясь, что теперь сестра увяжется за ним и не отстанет до самой ночи. По счастью, та вновь была занята Никитой, потакавшим её детским проказам, и Родион поднялся к Ляле.

Ляля была одна в своей комнате. По прикрытому тряпицей мольберту, едва уловимому запаху красок и небрежно брошенному в углу балахону, красками перепачканному, Родион догадался, что сестра посвятила этот день живописи. Должно быть, стояла у окна и работала. Или, правильнее сказать, творила? Сама Ляля всегда говорила – «работала». Творили по её мнению одни только гении, а ремесленники – работали.

– Посмотреть ещё нельзя? – Родион кивнул на мольберт.

– Если бы было можно, то и тряпицы бы не было, ты же знаешь, – отозвалась сестра.

– Но это пейзаж или портрет? Или, может быть, натюрморт?

– Увидишь, когда закончу. Ты что-то хотел или просто зашёл поболтать на сон грядущий?

Вы с отцом сами не свои эти дни. Что между вами вышло? Это из-за матримониальных планов?

– Уже знаешь?

– И раньше знала. Слышала случайно разговор отца с матерью.

– И не предупредила?

– Прости...

– Ладно, теперь это неважно. Не пойму, как это он тебя ещё замуж не выдал!

– Считаешь меня старой девой?

– Молодой, – пошутил Родион.

– Отец слишком знает, что я унаследовала его характер, чтобы пытаться в чём-либо давить на меня. Я ведь, если что, и в монастырь уйти могу. Или ещё куда.

– Скажи, ты давно видела Серёжу? – перешёл Родион к главному.

– Недавно видела. Он приходил к матушке, когда приехал. А что?

– Я подумал, может, заглянуть к нему? Всё же мы росли вместе... Да и вообще... Я бы хотел повидать его.

– За чем же дело стало? Пойди. Повидай. Я слышала, к нему из Москвы приехала невеста. Дочь самого профессора Кромииади! Можешь себе представить? Кто бы мог подумать, что наш тихий Серёжечка найдёт себе такую жену! Признаться, не ожидала от него. И очень за него рада.

– Так, может, и ты составишь мне компанию? Помнится, ты называла его своим первым критиком?

– Почему бы и нет? – пожалала плечами Ляля. – Завтра поутру и навестим. Если только застанем... – она чуть улыбнулась. – В самом деле, я бы хотела повидать моего первого критика. И на неё посмотреть любопытно. Серёжечка чудный человек, но я отчего-то никогда не могла себе представить женщину, которая бы стала его женой...

Серёжу они застали. Правда, не дома, а у старухи Лукерьи, у которой квартировала его наречённая и куда направила их его мачеха. Сама хозяйка не стала мешать молодёжи и, пригласив проходить в дом, так и не стронулась со своей лавки. Серёжа был явно рад гостям. Особенно Ляле, с которой его связывала детская дружба. И, как всегда, чересчур суетился от собственной застенчивости... Зато Лидия Аристарховна тотчас по-хозяйски стала накрывать на стол. Родиону сразу понравилась эта спокойная, исполненная внутреннего достоинства молодая женщина, каждое движение которой дышало размеренностью. Что-то общее было у неё с Лялей. Только Ляля хрупче была, трепетнее. И белокожа, белокура в отличие от смуглой южанки. И не было в ней ещё той хозяйственной основательности, которая присутствовала в Лидии. Да и ростом последняя была повыше. Для женщины, пожалуй, лучше бы и сбавить чуть. Не то с Серёжей они почти ровень.

Как ни занят был Родион своими мыслями, а заметил, как смотрит Лидия Аристарховна на Серёжу. А смотрела она с материнской нежностью и предупредительностью, словно удостовериться желая, не нужно ли что, не беспокоит ли что-нибудь?

За столом с нехитрым деревенским угощением потекла оживлённая беседа. Вначале больше разговаривали женщины. Рассказывала Лидия Аристарховна о московской жизни,

прежде всего, культурной. Выспрашивала Ляля о новом в мире живописи. А тут и Серёжа подтянулся. Поведал о своём добром друге Степане Пряшникове, молодом многообещающем художнике. О его работах. Ляля смеялась:

– Кажется, мой первый критик нашёл новый объект для своей критики? Ай-ай-ай! А меня-то, Серёжа, совсем позабыли? Непременно навестите меня до отъезда – я вам хочу мои новые работы показать и ваше мнение услышать. Это же надо! Матушку навестили, а меня забыли? Я бы на вас обидеться должна, а, вот, мы с Родей сами к вам пожаловали!

– Простите великодушно! Признаюсь, виноват! – Серёжа смущённо улыбался.

– А мы к вам зашли – Катерина нас сюда отослала, – сказал Родя. – Гляжу, семья-то у отца твоего всё растёт?

– Слава Богу, – кивнул Серёжа. – Отец всегда говорил: один сын – не сын, два сына – полсына, а три – сын. Теперь, глядишь, сбудется мечта его.

– Небось, тяжело ему теперь приходится? Одному такой воз тянуть?

– Не без этого. Да ведь не чужой же воз... Да и сестра помогала ему крепко.

– А теперь что же? Перестала? – Родион старался говорить безразличным тоном, но почувствовал, как пересохло в горле, отхлебнул чаю с ежевикой, не почувствовав вкуса.

– Ей теперь не до того! – Серёжа пожал плечами. – Замуж наша Аглаша вышла! Вот такой вот фортель! – он усмехнулся. – Чудная девка! Столько времени парня морочила, он уж и голову повесил, а тут вдруг враз решилась! Да как! Нет, чтобы по-людски, чин чином. Ну да сестрица моя всегда оригинальность любила. Вот и замуж без того не могла. Представляете, в ночь сбежали и обвенчались тайно! Будто бы родители супротив были! Нет, подумать только! И добро бы она у нас книжная какая была, романы читала. Так нет! Откуда только набралась таких фантазий? Письмо нам прислала поутру. Отец взбеленился поначалу, но потом остыл. Слишком он этого брака желал. И мачеха возрадовалась! Подобрела даже. А чего радоваться, спрашивается? Не рот ведь сбывают, а руки золотые, без которых в дому-то ей же куда тяжелее станет. Нет, не понимает!

Говорил, говорил Серёжа, варенье в чае размешивая да краюху хлеба свежего, с хрустящей корочкой, и маслом намазанного откусывая. А у Родиона перед глазами алые круги растекались. В ушах стучало. Мочи не хватало спросить, кто же счастливцев? А Ляля спросила:

– И какой же купец удачливый руки золотые приобрёл?

– Так кузнеца Антипа сын. Артёмка. Вот уж тоже хват, каких поискать! И что твой бык здоровый! В ручищах-то сила какая! С ним Аглашка наша как у Христа за пазухой будет. И кузня там, и земля, и всё... А крёстный у него – Фома Мартынович, знаете? Самый зажиточный хозяин в наших краях. Был батраком, а стал кулаком. Он-то устроить всю эту фантазию и пособил. Они теперь на заимке у него. Когда вернутся, не доложились. А отцы, побранясь, решили, что свадьбу всё-таки сыграют. После Успенского гулять хотят. А то что же? Обвенчались по-воровски и всё? В деревне так не положено. Тут весь мир созвать и угостить требуется. Традиция! Артёмка-то жених из первых на деревне был. Ну и Аглашка не из последних вовсе. Такой красавицы и умницы поискать ещё. Повезло Артёмке.

– Романтическая история, – с улыбкой сказала Ляля. – Рада за твою сестру. Артёма я хорошо помню. Парень справный. Дай Бог, чтобы у них всё сладилось!

Родион судорожно глотнул чаю, закашлялся. Пожалелось, что ничего более крепкого на столе не оказалось. Теперь бы напиток до бесчувствия... Никогда не пробовал ещё. Был бы в Москве, так махнул по-гусарски к Яру... А здесь... Разве что с дядькой кутнуть. Этот-то мастак погусарить! Ему и Москва ни к чему. Да Никитку прихватить с собой...

Но как?! Как могла такая перемена за считанные дни произойти? За один, фактически, день?! Что в этот проклятый день произошло? Не могла же она лгать?.. Это чистое, неземное создание – и лгала? Собиралась уже замуж за другого – и лгала? И это та, ради которой он твёрдо решил порвать с отцом? С родным домом?!

Что-то рассказывал весёлое Серёжа, вдруг обнаруживший вкус к непринуждённой беседе, дополняла его Лидия, смеялась, прыкая в кулачок, Ляля. А Родион окаменел словно. Не слышал их. Не различал слов. И ждал лишь, когда завершится этот визит, принёсший ему такой удар.

А, может, всё-таки ошибка?..
Нет. Она сама объявила.
И тот давно подбивал клинья.
Значит?..

Ночь Родион провёл у цыган, стоявших табором в нескольких верстах от Глинского. Сюда его с Никитой привёз Жорж, посулив, что отпотчуют здесь не хуже, чем в Яре. Дядьку цыгане любили. За весёлый нрав, за щедрость. А ещё больше за знание лошадей. В этом Жорж любому цыгану мог дать фору. В таборе он был частым гостем, и встретили его здесь, как родного. С песнями и водкой... Нашлось и шампанское.

И, вот, дядька, в ярком ментике и начищенных до блеска сапогах, сидел у костра. Длинный, красивый, с белокурыми вихрами и лихо закрученными усами, с лукавыми зеленоватыми глазами, маслянисто смотрящими на красавицу-цыганку... Звенела переливисто, то замирала, то вздыхала рыдающе его гитара, а приятный баритон выводил:

– Ах, зачем ты меня целовала,
Жар безумный в груди затая,
Ненаглядным меня называла
И клялась: «Я твоя, я твоя!»

И подтягивала низким, бархатным голосом цыганка:

– И клялась: «Я твоя, я твоя!»
– В тихий час упоительной встречи
Только месяц в окошко сверкал,
Полон страсти, я дивные плечи
Без конца целовал, целовал.

А теперь беспредельные муки
Суждены мне злодейской судьбой.
И не слышны мне дивные звуки:
«Милый, как я счастлива с тобой!»

Неожиданно дядька вскочил, кинул гитару рослому цыгану с серьгой в ухе:

– Ну-ка вжарь плясовую! Душа ноги размять желает!

И уже совсем по-другому зашлись струны. И расправила округлые плечи цыганка, зазвенела браслетами, затрясла подолом цветастой юбки. Закружились две тени в отблесках пламени. И, наконец, Жорж упал перед ней на колени, откупорил ещё одну бутылку шампанского, глотнул прямо из горлышка:

– Вот так хорошо! Вот так развернись душа! – и совал ассигнации цыганке за края лифа, целуя одновременно её шею.

Родион уже мало что замечал. От непривычно много выпитого, от зелья, которое набили в поданную ему длинную трубку, сладко мутило. Кружилась голова, утрачивая память, а с нею и боль. И всё расплывалось перед глазами, и счастливое нечувствие охватывало душу и тело.

Виделись лишь сполохи пламени и тени. И слышался – шёпот ли, шелест ли? И чьи-то руки обнимали, манили, влекли за собой...

Он очнулся утром в одном из шатров не в силах припомнить практически ничего из того, что было ночью. Лишь тяжёлый осадок остался, как от чего-то стыдного, грязного. И нестерпимо болела голова. Дядька, веселый и свежий, как огурец, заботливо протянул ему бокал шампанского, посочувствовал:

– Эх вы! Молокососы – одно слово! Учить вас ещё и учить!

– Нет уж, оставь эту науку себе. А я до неё больше не охотник...

– Тяжело в ученье, легко в бою! – хохотнул Жорж. – Настоящий гусар и в бою не осрамится, и в попойке не оплошает. А вы! А ещё «боги войны»!

– Скажи, ты когда-нибудь любил? – спросил Родион. – Не этих своих... шлюх... А по-настоящему?

Дядька озадаченно пожал плечами, покрутил ус:

– Чёрт его знает. Должно быть, нет. Знаешь ли, друг ты мой, я человек весёлый. Жить привык весело. А – «по-настоящему»... Мерехлюндия это, вот что. И на кой оно мне? Мне и так неплохо.

– А мне, вот, плохо...

– От «настоящего», надо полагать?

– Только не язви, будь добр! – рассердился Родион.

– Как скажешь!

– Вот, что мне делать, а? Что делать, если женщина, по которой сходишь с ума, обманула?

– Роль Отелло тебя не устраивает?

– Я же просил оставить колкости! Я сейчас не в том настроении, чтобы их воспринимать!

– Изволь! Тогда у тебя два варианта: погрязнуть в разврате с милейшими существами, которых ты только что оскорбил грубым словом, или...

– Или?

– ...жениться! Клин клином, как говорится.

– Ну, спасибо за совет.

– Всегда пожалуйста!

Дома ещё все спали, когда Родион возвратился после «ночи грехопадения», как язвительно окрестил её дядька. Лишь отец уже бы на ногах, успел выпить большую чашку кофе, который он органически не мог употреблять приличествующими сему напитку крошечными чашечками, и работал в кабинете в ожидании завтрака. Родион решительно прошёл к нему.

Отец отложил газету, смерил Родиона изучающим взглядом, повёл носом, отвесил:

– Хорош! Небось, с этим бездельником, моим своячком, цыган развлекали? Вот уж они таких шутов не навидались!

– Этого больше не повторится, – сказал Родион, опершись о косяк двери, чувствуя слабость в ногах.

– Неужели? Отчего так?

– Я выбор сделал...

– Даже так? И каков же твой выбор, позволь осведомиться?

– Я женюсь. На Ксении... Это окончательное решение! – с этими словами Родион попытался изобразить что-то вроде шарканья шпорой, но вышло худо и, безнадежно махнув рукой, он развернулся и, покачиваясь, вышел из кабинета.

Глава 14. Бездна

Той ночью Катерине стало плохо. Неудачно спотыкнулась она ещё днём, но к ночи такие сильные боли начались, что подумали – схватки. Малыши, сидевшие на печке, испуганно высовывались из-за занавески, смотрели, как крючится на кровати, стена, мать. Отец метался, не зная, то ли бежать за бабкой-повитухой, то ли быть рядом с женой. Хотел уже бежать, да она не пустила, застонала отчаянно, чтобы он не оставлял её, посидел рядом. Велел отец Серёже к повитухе бежать. Тот закружил по избе потерянно, нервно ища сапоги, плащ, спрашивая, где находится дом повитухи и не лучше ли к Марье Евграфовне...

Глядя на брата, Аглая поняла, что придётся идти самой. Забрала у него найденные сапоги:

– Сиди уж дома, Серёжа. Чего доброго, заплутаешь в таком мороке, да простынешь. Я сама мигом обернусь!

Серёжа замаялся, пытаясь возразить. Неловко было ему, чтобы сестра вместо него в эту грозу из дома в ночь шла. Да Але привыкать разве? Аля в барских хоромах не жила, в московских университетах не училась. А ему-то, болезненному и рассеянному, в такую шальную ночь идти куда-то одному никак не годится. Точно не обойдётся без худа.

А ночь, не приведи Господь, лютая выдалась. Всё ревело, рычало, грохотало со всех сторон. Гнулись к земле старые вётлы, трещали вдали сосны и ели. А ливень хлестал, превращая деревенские улочки в бурные, грязные потоки. По таким в сапогах хлюпать – беда! Да к тому ещё сапоги-то не свои, отцовские. С ног слетают, не давая идти. Да и на кой они, сапоги? Не зима, чай, и водица не ледяная. И до Марьи-то Евграфовны, если бежмя бежать – подать рукой. Не нужны тут ни сапоги, ни плащ! Добежать скоро, а там вытереться насухо, чаю горячего выпить с травами – и никакая простуда не страшна.

Перекрестилась Аглая, подоткнула подол юбки и бросилась бежать. Вмиг намокшая рубашка прилипла к телу, ноги сводило от ледяной воды. А, главное, ни зги не разглядеть было в кромешной мгле! Только изредка заливала её жутковатым сиянием молния. Точно бы заплутал Серёжа в такой темени! А Але что? Она и с завязанными глазами здесь всё отыщет.

Она пробежала примерно полпути, как вдруг перед ней на дороге выросла тень, в которую Аля едва не врезалась. Тень крикнула:

– Вот так встреча! – и широко раскинула руки. – Не ко мне ли на свидание бежите, Аглая Игнатьевна?

В яркой вспышке молнии Аглая с испугом увидела лицо Замётова и отступила на шаг. Прошептала дрожащими губами:

– Пропустите меня. Моей мачехе плохо, и нужно позвать Марию Евграфовну.

– Что вы говорите? – в голосе Замётова прозвучала недобрая усмешка. – Какая жалость! Ну, ничего! Я вас надолго не задержу, – с этими словами он резко шагнул к Але и, грубо притянув её к себе, с какой-то злостью впился в её губы.

Аглая отчаянно рванулась из его рук, но поскользнулась и упала в ледяное месиво. Замётов возвышался над ней с победным видом, подобно охотнику над попавшей в ловушку дичью. Снова вспыхнула молния, и Аля увидела его лицо. Исступлённое, с мутным взором и бескровными дрожащими губами. Страшное и безумное. Она отчаянно закричала, но гром бури поглотил её крик. Рванулась бежать, но Замётов крепко схватил её, поволок в сторону от дороги, жала губами, хрипя:

– Я же говорил, что ты моей будешь!

...До Марьи Евграфовны она всё-таки доползла. Потом. После кошмара. Теряя память от боли и стыда, но не забыв главного: Катерине помощь нужна, отцу нужна помощь... О кош-

маре она не обмолвилась ни словом. Сказала, что заплутала в темноте и, оступаясь, свалилась в придорожную канаву. Поэтому такая грязная и в ссадинах... Марья Евграфовна стала быстро одеваться, попутно наказывая, как обработать ссадины и ушибы и где взять травы для отвара от простуды. Будто бы Аглая за время работы в амбулатории сама того не знала...

– Там в моей комнате возьмишь в шкафу мою одежду. Отвару выпьешь и ложишься немедленно в мою постель. Укройся и не вставай, пока не вернусь! Не нравишься ты мне....

Побежала милосердная барыня под ливнем проливным, в плащ закутавшись... А Аглая бессильно опустилась на пол и горько, надрывно заплакала. Через какое-то время она заметила, что вокруг неё на чистые половицы натекла уже целая лужа грязной воды, и, преодолевая боль во всём теле, поднялась. Раздевшись донага, она с ненавистью посмотрела на своё тело. Прежде чем омыться самой, вытерла пол – не Марье же Евграфовне заниматься этим по возвращении. Кое-как смыв грязь, Аля прошла в комнату барыни. Отворила шкаф, в котором висело несколько скромных, простеньких платьев, и лежало грубое бельё. Одежда была совсем простой, но даже такую Аглая не смела теперь надеть на себя. Чистые вещи милосердной барыни да на себя, такую... Всё-таки выбрала что попроще – собственную изорванную, перепачканную одежду уже не восстановить, да и прикоснуться к ней, вновь одеть мочи нет.

Облачась в чистое, она подошла к постели. Та разобрана была. Постель подстать одежде – узкая, жёсткая кровать, тонкое одеяло, низкая подушка. Не комната, а келья монашеская. И образа, образа кругом. И ярко-ярко лампада розоватая горит перед Казанской. Рухнула Аля перед ней, стиснула голову руками, закачалась из стороны в сторону, завывая. А молиться не могла. И не могла смотреть на светлые лики. Что-то померкло в душе. И в очах померкло...

Марья Евграфовна, вернувшись, нашла её на полу без памяти. Дала соли понюхать, наполнила какой-то терпкой микстурой, уложила в постель и велела лежать. Сообщила, что с Катериной всё хорошо. Боли прекратились, и ни ей, ни будущему ребёнку ничего не грозит. Аля выслушала эту новость холодно. В душе вдруг всколыхнулась почти ненависть к мачехе. Из-за неё всё... Небось, и не больна была вовсе... Только так – отца пожалобить да над ней, Аглаей, поизмываться... Из-за неё... И из-за братца ещё... Не был бы он таким... Нет, нет! Серёжа-то чем виноват? Неотмирный он, чистый... Он бы и пошёл за барыней, да ведь сама же сапоги у него из рук вырвала, сама велела дома остаться... Нет, здесь только Катерина виновата... И сама... Сама... Сама...

Двое суток она лежала, не поднимаясь. Мечтая о горячке, в бреду которой всё забудется. А, быть может, ею и вовсе всё кончится. И мука кончится. Но природа, так покупившаяся на здоровье для Серёжи, с избытком дала оное Але. Не было ни горячки, ни бреда. Лёгкая простуда и слабость. Тем не менее, Марья Евграфовна оставила её у себя и по её просьбе никого к ней не допускала.

Покинув амбулаторию, Аглая пошла не домой, а в божелесье. На их место... Каждый шаг ногу жёг. Каждое дерево смотрело презрительно. И сама себя презирала Аля. Его она завидела издалека и затаилась. Он бродил у омута, печальный, подавленный. То и дело останавливался, прислушиваясь. Ждал её... А она не смела отныне приблизиться к нему. Посмотреть ему в лицо, в глаза. Она беззвучно плакала, глядя на него, пока он, наконец, досадливо преломив и бросив ветку, не ушёл...

Тогда Аглая, едва держась на ногах, спустилась к омуту. Вживе вставали в памяти мгновения, проведённые здесь вместе. Больше не повторится им. Никогда больше не посмеет она поднять на него глаз. Никогда не оправдается в его глазах. Невозможно рассказать ему о случившемся. Ему! Высокому... Благородному... Об этом стыде и ужасе... Лучше умереть. И пусть забудет её. И будет счастлив с достойной его... Если уж горячка не взяла, так омут холодный удружит. Исцелит навсегда от муки...

Через мгновение ледяные воды уже сомкнулись над её головой, но в следующую секунду чьи-то сильные руки вытащили её на поверхность. Из бесчувствия Алю вывела несильная, но крепкая оплеуха и крик:

– Ты что, ошаломутила совсем?! Дура чёртова! Убить бы тебя за такое!

– Зачем убивать... Просто не надо было мне мешать... – отозвалась Аглая, тускло глядя на Тёмку. Тот стоял перед ней, насквозь мокрый, жилистый, грозный. А лицо его выражало смесь испуга, злости и жалости.

– Ты, что ли, следил за мной, Артёмушка?

– Не за тобой, – хмуро отозвался Тёмка. – За ним... Думал, увижу, как вы с ним милуетесь, так и пришибу его.

Аля поднялась и горько, отчаянно расхохоталась. Тёмка с тревогой посмотрел на неё:

– Ты чего, а?

Аглая перестала смеяться, шагнула к нему:

– Ударь меня ещё раз.

– Чего?

– Побей меня, говорю. По-настоящему побей. Как мужья неверных жён бьют.

– Ты дурь свою брось, слышь! Я тебе пока что не муж!

– Всё равно побей. Может, мне легче станет, если кровью изойду...

– Бросил, что ль, тебя твой барчук? Ты и бесишься? Вестимо дело! Эх, взять бы вожжи да отодрать тебя! Чтобы дурь из башки вышла!

– Так возьми. Вожжей нет, так, вон, сколько прутьев кругом растёт.

Тёмка зло сплюнул:

– Да поди ты!.. Помешанная!

Аглая опустила голову, всхлипнула. Ей было нестерпимо жаль себя. Тёмка нахмурился, опустил свою тяжёлую лапищу ей на плечо:

– Ну, чего ревьешь-то? Дурёха ты, дурёха... Эх-х... – помолчал немного. – Вот что, ревь ты брось. И дурить брось. Топиться опять соберёшься – выволоку, не сомневайся. Мне ведь без тебя жизни нет.

Аля подняла голову:

– Что говоришь-то? Жизни нет... Ты же не знаешь ничего...

– И не хочу знать, – резко ответил Тёмка. – Что там промеж вас было... Твоё дело. А я своего слова назад не возьму. Иди за меня замуж. Прошлого тебе напоминать не стану, слово даю. Будем жить, как все. Жизнь всё на места и расставит.

Какое-то смутное, болезненное чувство шевельнулось в душе Аглаи. Что ж, может, так и лучше... Пусть тварью считает, легче забыть ему будет. А Тёмка – парень горячий, руки, что твои лопаты. Глядишь, душу-то и выбьет. Не то так тело истерзает, что душа забудется.

– Поцелуй меня, Артёмушка...

– Чего? – опешил Тёмка.

– Поцелуй меня, – попросила Аглая, подаваясь вперёд.

Тёмка оправил усы, робко привлек её к себе и поцеловал коротко, но жарко. И что-то полыхнуло внутри, толкнуло словно. Прошептала Аля, точно в лихорадке:

– Вот что, Артёмушка, если хочешь, чтоб я твоей была, так теперь же вези меня, куда хочешь, и обвенчаемся! Сейчас я с тобой куда хочешь поеду, а завтра, гляди, опамятуюсь и слово своё назад возьму!

Глаза Тёмки вспыхнули, он крепко стиснул её запястья:

– Не дам я тебе слова твоего назад взять. Сегодня же всё чин чином будет. С попом и свидетелями. К дядьке Фоме покатым. Он всё в два счёта устроит! Айда! – с этими словами он подхватил Аглаю на руки, понёс к лугу, куда уже выгнали ребятишки лошадей в ночное. Здесь, отличив своего гнедого трёхлетка, проворно усадил её ему на спину, вскочил следом

сам, не смущаясь отсутствием седла, крикнул что-то гортанно, и конь поскакал, оставив позади изумлённо разинувших рты мальчишек.

Аля не сопротивлялась, всецело отдав себя во власть Тёмки с той отчаянностью, с какой только что бросалась в омут.

Вскоре были уже у Фомы Мартыновича. Тот, неожиданно разбуженный, вначале осерчал, но, узнав в чём дело, и окинув Аглаю взглядом, каким бывалый коневод оценивает породистую кобылу, заключил довольно:

– Знатную ты себе жену отхватил, крестничек! Таковую и украсть – святое дело! А что же мне вам попа тоже посреде ночи поднять и подать?

Тёмка молча кивнул.

– Экой ты! – ухмыльнулся Фома, снова окинув Алю плотоядным взглядом. – Поди невтерпёж? Понимаю! – шепнул крестнику на ухо так, что Аглая расслышала: – А я бы в твои годы такую кралю, пожалуй, и без попа... А там бы уж и замолили грешок... Прости Господи! – перекрестился размашисто. И уже громко произнёс, поскребя рыжеватую бороду: – Ладно уж, будет вам поп. Только давеча сидели с ним – чай распивали да в пьяницу играли со скуки. Мадерцею угощал его. А с урожая завсегда и пшенички ему, и сенца для его коров – ничем не обижаю. Чай, и он моего крестничка не обидит. Скажите ему, что грех покрыть хотите.

Фома Мартынович повёз неожиданных гостей к священнику, самолично заложив для того коляску.

Отец Кондратий, дородный, средних лет батюшка высунулся на осторожный стук в ставню и, увидев знакомое лицо, приложил палец к губам:

– Сейчас выйду, не шумите. Дети спят.

Через несколько минут он появился на крыльце в одном подряснике, зевая и на ходу натягивая сапоги. Фома Мартынович коротко изложил ему суть дела, кивнул на Алю с Тёмкой:

– Вот, батюшка, соедините сего голубя с сей голубицей!

– Без родительского благословения? – робко нахмурился отец Кондратий.

– Родители благословят, не сумлевайтесь.

– Тогда зачем же такая спешка? Неужто даже до утра потерпеть нельзя было?

– Ну, так ведь дело молодое, батюшка. В такие годы кровь горяча, и ночь не в ночь, и день не в день. Это нам с вами теперь печку бы теплую да перину мягкую, а по молодости-то – эхма!

– Да будет вам! – махнул рукой священник. – Бог с вами. Сейчас разбуду матушку и нашего старшенького и как-нибудь... Хотя не дело вы затеяли, не дело... Что за блажь? Будто тати ночные под венец идти...

А потом было венчание. Маленькая церквушка, специально открытая в неурочный час. Заспанный, беспрестанно зевавший мальчонка, прислуживавший отцу Кондратию. Дородная подстать мужу, румяная матушка, смотрящая добрыми, безмятежными, словно у коров, глазами – свидетельница Аглаи. И Фома Мартынович – свидетель Тёмки.

– Артемий, берёшь ли ты в жёны сию Аглаю?

– Аглая, берёшь ли ты в мужья сего Артемия?

И свечи... И строгие лики, безмолвно взирающие со стен... И Архангел Михаил с обнажённым мечом – грозный, пугающий. И – Страшный Суд. В последний момент Аглая взглядела его. Спас на облаке в окружении ангелов с мечами, праведники восстающие, а внизу преисподняя. На дне её – страшный змей. И туда, в бездну эту мерзкие чёрные существа стalkerивают грешников. Але вдруг почудилось, словно это её саму толкают в неё, прямо к зловонному змею, на вечную погибель и проклятье... Она едва не лишилась чувств, но Тёмка подхватил её, бережно вывел на воздух, усадил в коляску. Тронулись в путь крупной рысью. От свежего ветра стало легче, недавнее наваждение рассеялось и откуда-то вдруг явилось странное, незнакомое ей чувство, совсем слабое и оттого неопределённое.

Ещё не занялось солнце, когда они достигли заимки. Фома Мартынович проводил их в маленький домишко в две комнаты с крошечной летней терраской и, лукаво подмигнув крестнику и похлопав его по плечу, укатил восвояси.

Аглая присела на кровать, посмотрела на застывшего в нескольких шагах от себя Тёмку. Тот судорожно сглотнул, сказал, отводя глаза:

– Не зябко тебе здесь, жена?

Аля мотнула головой.

– И то правда. Лето ж... – Артём нерешительно приблизился, подёргивая рукой и неровно дыша. – Да... Неплохое лежбище у дядьки Фомы. Вот же... Простым батраком был, да... А теперь! Даже домишко охотничий заимел. Чисто барин, – он осмелел и, сев рядом с Аглаей, приобнял её за плечи: – Ну ты, жена, обожди! У нас ещё не такие хоромы будут! Я ж, ты знаешь, работать умею! Я так работать стану, что ты у меня как барыня жить станешь!

Он страстно говорил, смотрел обжигающим, томящимся взглядом, и то чувство, которое родилось по пути сюда, усилилось, стало теснить грудь, распаляя её не любовью, как бывало у омута, а тёмным вожделением. И прикосновения мужа не стали ей нисколько противны, как ожидала она. Но оказались желанны и приятны... Значит, поделом... Значит, такая и есть она, за какую её принял страшный человек, какой сама себя она не ведала, а теперь, пробуждённая, узнала. И не место ей рядом с Родионом Николаевичем. Негожа она, подлая, ему, такому благородному, самому лучшему человеку на свете. Только бы забыл он её скорее, проклял бы в сердце своём и забыл. А ей теперь по своей худой дорожке брести... Простите, Родион Николаевич... Не поминайте лихом... И дай Бог хоть вам настоящего счастья...

Утром Але привиделся кошмар. Будто бы она, нагая, стоит на краю бездны, на дне которой лежит, испуская смрад, змей. А черти толкают её вниз, колют вилами, жгут огнём. В отчаянии она поднимает взгляд к небу, умоляя о спасении, но Тот, Кто восседает на облаке сокрыт от неё, не достойной видеть Пречистого Лица. И один из чертей с лицом страшного человека со смехом толкает её в грудь, и она летит вниз, в бездну...

Аглая проснулась в ужасе и уткнулась лицом в мускулистое плечо мужа, ища защиты...

На заимке они провели несколько дней, пребывая словно в угаре. Удивлялась Аля себе новой, незнакомой. И боялась себя. А Тёмка счастлив был. Лицо его всё это время лучилось блаженством. И снова и снова обещал он ей почти барскую жизнь, построенную своим трудом. От Фомы Мартыновича наезжал посыльный – привозил еду, которая поглощалась с большим аппетитом. Аглая ходила по дому полуодетая, не стесняясь. Время от времени рассматривала себя в небольшом зеркале, ища, как отразились перемены, случившиеся в душе, во внешности. А Тёмка смеялся, не понимая:

– Экая ты! Не налюбуйешься на себя! Не глядись, я и так тебе скажу, что красней тебе нет!

Однако же, пора было и возвращаться. Летом один день год кормит. Работать надо.

– Ничего! – бодро говорил Тёмка. – Мы своё возьмём! Нас и на день хватит, и на ночь силёнок занимать не придётся!

В Глинское выехали затемно, чтобы со ртами раскрытыми не встречали и глаз не пялили. Сперва в мужнин дом прошли. Антип Кузьмич встретил сурово, но быстро отмяк, махнул рукой:

– Ладно уж! Совет вам да любовь, дети! Живите.

Засуетилась обрадованная Марфа Григорьевна, расцеловала сына и сноху, утёрла платком слёзы:

– И детишков чтоб побольше! И дом полная чаша! И чтоб душа в душу, как мы с Антипушкой...

– Полно молоть! Самовар ставь! – велел Антип Кузьмич.

Покуда завтракали, уже и белый день расцвёл. Жаркий, какие только в июле бывают. Того гляди сожжёт тебя солнце. Засобирались теперь к Игнату Матвеичу на поклон. Прошли

немного и заметили вдали какое-то необычное оживление у церкви, словно бы сход. Да шумливый такой.

– Что это наши там собрались? – прищурился Тёмка. – Конокрада, что ль, поймали? Орут уж больно. Пойти поглядеть...

Но Аглая потянула его в другую сторону:

– Сперва моего отца уважим, а потом на погляд пойдёшь.

– И то верно.

Едва несколько шагов сделать успели, как навстречу им выбежал Серёжа. Вид у него был смятённый, растрёпанный, совершенно растерянный. Аля кинулась к нему:

– Что, Серёжа? Что-то случилось?

Брат посмотрел на неё как-то шало, словно пытаюсь собраться с мыслями. Ответил со странной гримасой:

– Д-да... Брат родился... И... война началась!

Аглая отступила на шаг, покосилась на вытянувшегося, точно уже скомандовали ему «смир-р-но!», мужа и поднесла руку к сердцу. Теперь уже отчётливо слышала она сквозь доносившийся от церкви разноголосый гомон одно непрерывно повторяющееся слово:

– Война! Война! Война!

ПОЛЫМЯ

Глава 1. Живой

Война есть зло. Зло априори. Зло, потому что несёт с собой разорение и страдание людям. Ожесточает нравы. Стирает грани дозволенного, разнуздывая инстинкты. Теоретики, впрочем, полагают, что без войны нация растлевается, что война мобилизует силы нации, омолаживает кровь. Что за нелепица! Разве не лучшая часть нации гибнет в войнах? Лучшая во всех смыслах? В смысле физическом, ибо калек на войну не берут. В смысле духовном, ибо трусы, шкурники, хороняки на войну не идут, а сидят в тылу. И рассуждают. О патриотизме! И о высоте подвига! И о красоте войны!

В первые месяцы безумия заливались поэты наперебой:

Когда Отечество в огне
И нет воды – лей кровь как воду...
Благословение народу.
Благословение войне!⁵

Но, благословляя войну, отнюдь не спешил автор этих виршей лить собственную кровь в имя благословляемого народа. А ему вторил, завывая от имени мнимой «простой бабы» другой «храбрец»:

Но не страшно бабьему
Сердцу моему,
Опяшусь саблею
И ружьё возьму,
Выйду я на ворога,
Выйду не одна,
Каждой любо-дорого
Биться, коль война.⁶

Определённо, последний стыд потеряли господа поэты! Подобную белиберду не совестно ли было писать самим? Поэзией величать? Хотя какое там! Если уж Сологуб Фёдор до такого «гениального» дописался:

Да здравствует Россия,
Великая страна,
Да здравствует Россия,
Да славится она!

Самый отсталый гимназист младших классов такой пошлости не сочинил бы. А ведь это «поэзия» мэтра!

Надёжин отбрасывал газеты с гримасой. На фронт вас, господа белобилетники – там и пишите подобную чушь.

Бальмонт был откровеннее. Бродила по рукам мерзость, адресованная «русскому офицеру»:

Грубый солдат! Ты ещё не постиг
Кому же Ты служишь лакеем?
Ты сопричислился – о не на миг! –
К подлым, к бесчестным, к злодеям.
Я тебя видел в расцвете души,
Встречал тебя вольно красивым.
Низкий. Как пал ты! В трясине! В глуши!
Труп Ты – в гробе червивом!
Кровью Ты залил свой жалкий мундир,

Душою Ты в пропасти тёмной.
Проклят ты. Проклят Тобою весь мир.
Нечисть! Убийца наёмный!

За такое бы в приличные времена приличные люди поучили господина пиита хорошим манерам у барьера... А тут – читали. Обсуждали. В салонах, знать, и соглашались. К гадалке не ходи. А почему бы и нет? Коли в офицерских собраниях позволяли себе похабные анекдотцы о Царе? Об Императрице?..

Сколько наивных глупцов славили войну в её первые дни... И негодовали на скептицизм! Война – гибель нации? – зашикают, как на крамольника. Исторический факт: французскую нацию убила революция и война. Вернее, войны столь чтимого всеми военного гения Бонапарта. Нацию русскую должна была теперь свести в могилу война и... революция.

Омоложение, оздоровление крови! Ох и изрядно оздоравливалась она, когда цвет нации гиб на передовой. Гибли те, кто первыми шли в бой за Веру, Царя и Отечество. Не зная, что этот бой не столь уж и важен. Что главный, самый страшный бой впереди. И в нём-то как понадобятся все эти верные Богу и Престолу! А их – не будет. Потому что они останутся лежать в чуждых землях, на которых невесть ради чего лилась русская кровь. А шедшие следом уже не будут иметь того незыблемого чувства, уже поколеблены будут... И бой главный окажется проигран.

То, что будет именно так, Алексей Васильевич знал настолько твёрдо, как будто всё уже произошло. И то, что война – сугубое зло, не вдруг для себя открыл, а убеждён был издавна. Но когда полыхнула она, когда потянулись к западным рубежам вагоны с протяжно поющими солдатами, а назад – с убитыми и ранеными, когда первый вдовий плач огласил деревню, не позволила душа уклониться. Никакой логики, никакого рассудка не было в его решении. А что же тогда? Глупая сентиментальность, присталая восторженному юнцу, но не умудрённому учителю? Патриотизм, о котором из-за опошления понятия и заикнуться-то стало неловко? Некий инстинкт, дремавший в мирную пору? Он и сам затруднялся сформулировать точно. Просто не мог отсиживаться в тишине и мире, когда другие проливали кровь. Не позволяла душа...

Сонюшка благословила. Хотя и неимоверно тяжело ей было. Да и самому покидать её с тремя малышами – куда как невыносимо. Но она – поняла. Как понимала всегда. Во всю их трудную, щедрую на испытания жизнь. Не удерживала, не отговаривала, не плакала, боясь огорчить...

Марочки уже не было к тому времени в деревне. Она уехала на фронт в первые недели войны. Оставила амбулаторию на попечение Аглаши, собрала маленький саквояж и, простясь со всеми, отправилась. В третий раз покинула кров, чтобы служить страждущим там, где более всего это служение требовалось. А ведь могла же и она остаться. После всех мытарств... Устроить госпиталь здесь, как многие сердобольные дамы. Но это было естественно для них, а Марочка не могла делать что-то наполовину. Только отдаваясь своему служению целиком...

У Надёжина такого максимализма не вышло. Хотя он и попал на фронт в чине вольноопределяющегося, но в самих боевых действиях не участвовал, будучи определён на штабную должность. Бумажная работа тяготила его своей рутинной, зато оставалось довольно времени для размышлений и дневниковых записей, которые Алексей Васильевич взял исправно вести. Он немало времени проводил с солдатами, разбирая их нужды, помогая писать письма, по желанию обучая грамоте. «Учитель» – это прозвище закрепилось за ним и произносилось с уважением. Находить общий язык с солдатами было несложно. Суть те же мужики, среди которых он жил, чьих детей пестовал. Сложилась отношения и с офицерами, ценившими надёжинскую начитанность. Длинными дождливыми вечерами во время затяжных позиционных боёв, выматывающих силы и душу, чем было скоротать время? Картами. И разговорами. Для последних Надёжин был незаменим.

Война неумолимо затягивалась. На австрийском фронте случались славные победы и прорывы, но велика ли честь одолеть австрияков? Трусы искони. Немцы – дело иное. Эту железобетонную стену никак не удавалось прошибить. Хуже того, эта стена теснила. Заставляла отодвигать линию фронта. Что-то тягостно бессмысленное было во всём этом нескончаемом действе. Тут уж не сражения, не доблести военные решали исход, а – выносливость. Чьи силы и нервы измотаются раньше. Почему, в сущности, русским должно было измотаться раньше? Враг ведь ещё и не ступил, по крупному счёту, на русскую землю. Вся Россия лежала за спиной воюющей армии, живя своей обычной, лишь отчасти измененной войной жизнью. И какая силища могла эту громаду одолеть? Между тем, германские ресурсы были на исходе. Но... Почему-то ощущалось, что дрогнут вперёд именно наши ряды. Может, и вернее была бы победа, когда бы немцы прошли вглубь страны... Тогда бы заговорил народный дух, и народ встал на защиту своей земли. А так... Война оставалась для народа чужой, идущей за чужие земли и интересы, приносящей лишь напрасное разорение. За что была эта война? За что была война Японская? За что-то вовсе неведомое народу. Да и многим ли ведомое? Конечно, горячие патриоты вспомнили бы в ответ на это о Босфоре и Дарданеллах. Но это – аргумент для политиков, полководцев и романтиков. Не для «серой скотинки», загнанной в окопы. Не для народа.

Подолгу разговаривая с солдатами, Надёжин видел, что в них нет того боевого духа, который даёт победу. А есть усталость. И желание вернуться домой, к семьям, к труду. И раздражение против тех, из-за кого оно не могло осуществиться. Скоренько и подсказывали из-за кого – из-за собственного правительства и Царя. Показывали Алексею Васильевичу соответствующие листовки. Объяснял он, что стоит за подобными призывами, но, как доходило дело до правительства, присыхал язык к гортани. Как прикажете *этих* защищать? Ведь ни единого почти человека путного не осталось в кабинете! Один другого краше! Как могло так случиться? Какая злая сила наворожила? Чтобы в богатейшей умными и талантливыми людьми стране министрами поголовно оказались серости и бездарности? А то и хуже...

Да ведь их – не Государь ли назначал?..

Но Государь – Помазанник Божий. Опутали его, как сетью, разные тёмные личности, и... А он – не понимает? Не видит?

Вот, и пойди растолкуй мужику, отчего всё так происходит... Ну разве что про большевиков и им подобных знатно пояснить сумел. И по программам их, и по личностям.

Но как пробудить монархическое чувство? А ведь прежде не нужно было пробуждать его. Или прежние цари были лучше? Да нет. Мужикам, по крайности, ни при одном Царе не жилось вольготнее. Так отчего же монархическое чувство уснуло? Нет, для большинства монархия, царь-батюшка было нечто незыблемое, само собой разумеющееся. Но незыблемость эта мёртвая была. Вроде бы так установлено. Но измени установку – и подчинятся новой. И быстро подчинятся. Лишь плечами пожмут...

Так и вышло в проклятом марте 17-го. Когда зачитан был манифест об отречении... Всё кипело в груди Надёжина. Отрёкся! Отказался от борьбы! Как? Почему? Боялся пролить кровь... Предпочёл пожертвовать собой... Но... до чего же глупо!.. Да, некогда праведные Борис и Глеб предпочли смерть усобице с братом. Но на них не лежала ответственность за судьбу целой страны, целого народа! Мог Государь не защищать себя, смиренно принимая испытания, вверяясь в Божию волю, но защищать народ неужели не обязан был? Или же те тати, что потребовали у него отречения, оказались в его понимании изъясителями народной воли? Не вмещалось ни в голове, ни в сердце...

А тёмный вал всё поднимался. Доходили жуткие подробности расправ над офицерами... Приехавший из отпуска штабс-капитан Десницын рассказывал о столичной вакханалии, которую прославляли теперь, как торжество свободы. Кровь невинных – это свобода? Убийства офицеров и городовых – это свобода? Грабежи и насилия – это свобода? Свобода! Что при-

зрак ненасытный! Крови жаждущий... Свобода! С пулемётной лентой через грудь и штыком наперевес, с озверевшей мордой пьяного мерзавца – в таком обличии пришла она к нам, долгожданная! И то ли будет ещё...

– Алексей Васильевич, солдаты хотят, чтобы вы у нас стали комиссаром.

Закашлялся Надёжин, когда румяный ефрейтор из Саратовской губернии заявился к нему с таким предложением. Это насаждали теперь не имеющие власти калифы на час – комитеты, комиссары... Аж передёргивало от самого названия. Комиссар! Ему, Алексею Надёжину – да на революционную должность? Вроде как на передовую революции?

– Нет, неверно вы рассуждаете! У нас это нововведение – по приказу. Солдаты вам оказали доверие, зная ваши убеждения, не смущаясь ими. Рассудили благоразумно, что великая редкость теперь, и нужно поощрять. В кругу офицеров – вы свой человек. Да лучшей кандидатуры быть не может, чтобы всё осталось на своих местах, и не было безобразий! А если другого выберут? Из революцион-нэров? Кому же, помилуйте, лучше будет? Тогда прощай дисциплина, и шабаш!

Эти-то доводы штабс-капитана Десницына, поддержанного другими офицерами, и заставили Надёжина скрепя зубы принять сомнительную должность. В ней он, впрочем, не чувствовал особого себе стеснения. Только всё бессмысленней становилась и без того бессмысленная война. Тыл стремительно разлагался, заражая трупным ядом и фронт. Откатывались назад деморализованные русские части. А утратившие чувство реальности калифы кричали о войне до победного, о верности союзникам. Союзники! Вот, кто в первую голову волновал их. Как Франция посмотрит, да что скажет Англия. Но что взять с них? С заискивающих похвал от западных дипломатов, добрую часть карьеры своей расшаркивавших перед ними... Но не то же ли, пусть и не в таком постыдном виде, было прежде? Не русской ли кровью была куплена французская победа под Верденом? Что нам был тот Верден... И Франция... Что столько русских жизней не пожалели... Верность союзникам! Союзникам, которые сами не способны к верности. Во всяком случае, нам... Но химера эта так околдовала умы, что только и слышалось отовсюду – *союзники!* Да не шут бы с ними? Сколь бы меньше позора от сепаратного мира было...

В августе, в самые горячие дни, когда в Москве отгремело знаменитое совещание, и высоко-высоко зажглась пробуждающая во многих надежду звезда генерала Корнилова, Алексей Васильевич был тяжело ранен осколками разорвавшегося рядом снаряда. Ранение было столь тяжёлым, что врачи сомневались, удастся ли ему выкарабкаться. Приходилось почти заново учиться ходить, говорить... Когда он немного пришёл в себя, то оказалось, что Временного правительства больше не существует. Большевики взяли власть...

Он лежал на больничной койке лазарета Софийского монастыря, вслушиваясь в перезвон колоколов, созывавших на службу, и мучительно вспоминал. Вспоминал, что было с ним в долгие недели полубреда. Помнилось, что сперва лежал он в другом лазарете. Ближе к передовой. А потом был санитарный поезд... И в какой-то момент, придя в себя, он увидел над собой лик... Марию... Марочку... И что-то говорила она, касалась пылающего лба прохладной ладонью. Сон ли то был или явь? И где было это? На передовой или в поезде? Или в каком-то другом лазарете? Ах, как не хватало её теперь! И узнать бы, что с ней... И дома – что? Почта стала работать по-революционному: письма шли месяцами, а то и не доходили вовсе.

Слава Богу, что привёл именно сюда. В Покровскую обитель. Поручил заботам дорогой матушки Софии.

Далеко-далеко от матери городов русских случилась их первая встреча. В незабвенной Оптиной, куда матушка, духовная дочь оптинских старцев, приезжала, как могла, часто. В ту пору она была настоятельницей одной из беднейших обителей – «Отрады и утешения», расположенной на живописном берегу Оки в Тульской губернии. Когда несколькими годами прежде две молодые монахини, ищущие места, где обосноваться самостоятельно, устроив свою

общину, приехали туда, там высилась лишь заброшенная церковь во имя Иоанна Милостивого с выбитыми окнами и проваленной крышей. Окрестные жители, большей частью, рабочие Дугинского завода, были людьми духовно одичавшими и встретили сестёр весьма недоброжелательно.

Однако, с Божией помощью мало-помалу жизнь стала налаживаться. Маленькая община жила по строгому уставу, пребывая в труде. Постепенно возрождался заброшенный храм, а с ним – и помрачённые души людей. И вот уже приезжали туда из столиц. Интеллигенция. Иные и вовсе неверующие. Но пожив среди сестёр, приобщась духу обители, обращались ко Христу. Матушка София имела великий дар влиять на людские души. Влиять, никогда ничего не навязывая...

Удивительна была судьба этой женщины, в которой решительно всё оказывалось промыслительно. Рано лишившись отца, маленькая Соня воспитывалась в Белёвском женском монастыре. В детских играх она часто изображала игуменью: облачалась в длинную пелерину, становилась на возвышение и благословляла брата и сестру, которые кадили ей, размахивая катушками, привязанными на нитках.

Позже, гостя в калужском имении бабушки, Соня часто бывала в Оптиной. Однажды после службы старец Анатолий (Зерцалов) вышел с крестом и подозвал девочку:

– Пропустите игуменью!

Когда она, удивлённая, подошла, он подал ей крест, чтобы она приложилась, погладил по голове и добавил:

– Какая игуменья будет!

Старец же Амвросий при встрече с Соней поклонился ей в ноги...

Однажды во время молотбы в овине к матери Софии подошла калека-крестьянка и сказала, кивнув на неё:

– Ты свою дочь замуж не выдавай. Я сегодня сон видела. В иконостасе вместо иконы Божьей Матери была твоя дочь!

Однако, несмотря на эти пророчества, сама София в юные годы ещё не думала о монашестве. Обладая прекрасным голосом, она поступила на певческое отделение Киевской консерватории, педагоги которой прочили ей большое будущее. Однако, этому не суждено было сбыться. София сильно простудилась и полностью лишилась голоса. Вдобавок последствия болезни оказались столь серьёзны, что врачи заподозрили чахотку и рекомендовали ей лечение за границей.

Прежде чем уехать, София отправилась в Свято-Троицкую обитель, где ей было даровано чудесное исцеление – впервые после десяти месяцев молчания она смогла говорить... Это чудо решило судьбу девушки. Вскоре она приняла постриг...

В первую же встречу в Оптиной матушка пригласила Надёжиных навестить свою маленькую обитель. Приглашение было с благодарностью принято.

Монастырь «Отрада и Утешение», получивший это имя в честь хранившегося в нём образа Богородицы, был расположен на высоком холме и окружён рощей по-южному белостволых берёз. Дивный вид открывался отсюда: прекрасная долина, покрытая ковром полевых цветов, позади неё извивающаяся меж берегов Ока...

Обитель была крайне бедна и жила одним днём, но в этой бедности особенно проникнуто всё было духом подлинного, исконного христианства. Здесь жили по заповедям буквально, следуя им всякое мгновение. Такими, должно быть, были первые общины христиан, в которые не вкрался ещё мирской дух попечения о внешнем. Восхитительны были и богослужения в восстановленном, с любовью украшаемом в праздники руками насельниц храме. Более сотни душ спасалось в беднейшей обители, не имея никаких доходов и при этом помогая нуждающимся, заботясь о полусотне сиротах созданного при монастыре приюта. Чем жили они? Откуда что

бралось? Словно бы ежедневно повторялось здесь чудо насыщения семью лепёшками и двумя рыбицами...

А ещё матушка, обладавшая даром слова и большой мудростью, публиковавшая стихи и прозу под инициалами «И.С.», часто устраивала беседы с сёстрами и приходившими на них мирянами. Беседовали обычно о жизни великих подвижников, эпизодах Святого Писания, жизни самой обители... Сколько подлинной просвещённости было в этих беседах! Подлинным духовным счастьем было слушать игуменью Софию.

– Знойно и душно стало в мире от усилившегося развращения обычаев и нравов. Вместо имени Божия и Его власти, призывается имя и власть Его противника и исконного человекоубийцы, вместо истины царствует ложь, вместо чистоты ума и сердца – распущенность. Ныне, более чем когда-либо, исполняются слова Спасителя: Не думайте, что Я пришёл принести мир на землю; не мир пришёл Я принести, но меч, ибо Я пришёл разделить человека с отцом его, и дочь с матерью её, и невестку со свекровью её. И враги человеку – домашние его⁷. Ныне жена не стала понимать мужа, занятого только пустыми материальными расчётами, муж – жену, ищущую Бога; ныне брат восстаёт на сестру за её любовь к целомудрию, а мир презирает, гонит и попирает решительно всё, что может напомнить ему о Христе и Его заповедях. Теперь именно настал тот великий духовный голод, о котором предсказал великий Псалмопевец и Царь словами: Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими⁸. Душа задыхается в миру, одурманивается и, если не убежит от мира, скоро умирает мучительною смертью или самоубийства, или конечного отпадения от Бога и сатанинской вражды на Него. Жалкая, чуткая душа, ещё не успевшая оскверниться в чаду угара мирской жизни и грехов человеческих, стремится вырваться из мира, уйти туда, где небо чисто, где дышится ей легко, где воздух не заражён изменой Богу, чтобы там вздохнуть легко и набраться сил для борьбы со злом, грехом, со своею плотью, воюющей на душу, и с пакостником её, богоборцем-диаволом...

Позже не раз порывался Алексей Васильевич с женой снова навестить полюбившуюся обитель. Но не судил Господь. А затем и матушка София покинула её, став игуменьей киевского Покровского монастыря.

И вот теперь нежданно свидеться привелось.

Колокола всё пели, и Надёжин с трудом, преодолевая мучительное головокружение, поднялся с постели, опёрся на костыль, зажмурился от роящихся в глазах разбуженным ульем точек.

– Куда это вы собрались, Алексей Васильевич? – осведомился лежащий на соседней койке поручик, отложив книгу.

– В церковь... Надо... – слабо отозвался Надёжин.

– Не дойдёте, полноте. Вы же чуть на ногах стоите.

– Дойду... – твёрдо отозвался Алексей Васильевич. – С Божией помощью... Надо с чего-то начинать.

Едва переставляя отвыкшие от ходьбы ноги, он медленно спустился на улицу. Впервые за проведённые здесь дни. В лицо ударило сыроватой прохладой и прелью. Осень! Монастырский сад уже увял, заметя потемневшей листвой дорожки, поникнув скорбными в своей наготе ветвями. Ветер ташил по небу неряшливые обрывки туч, изредка, будто обиженно, брызгавшие дождём, но тут же уступавшие место лазури и солнечным лучам. Мерцали в вышине кресты великолепного Никольского собора.

Ещё четыре десятилетия тому назад здесь, в Лукьяновке, и помину не было о монастыре. Вековые деревья шумели, стекая вниз по кручам Вознесенского холма. Но волей Великой Княгини Александры Петровны была созиждена эта обитель, «живой монастырь», как именovala его сама основательница. Живой, потому что призван был к доброделанию, к служению страждущим.

Тяжело больная княгиня слишком хорошо знала, что такое страдания, а потому стремилась облегчать их другим. Большая часть монастыря была отведена под больничные нужды: здесь располагались большая больница, амбулатория для проходящих больных, образцово устроенная аптека, училище для девочек-сирот, приют для слепых, приют для неизлечимых хронически больных женщин, барак для заразных больных, анатомический покой для нужд больницы, прачечная, странноприимница, куда мог прийти всякий бездомник и найти не только приют, но и заботу...

В считанные годы был устроен этот град милосердия. Приняв постриг княгиня боялась не успеть того, что считала себя должной сделать. Всё подчинялось здесь её воле. От проектировки, которой занимался её сын, до церковных служб. В монастыре введён был строгий Студийский устав, и Александра Петровна сама следила за совершением богослужения, сама писала расписание церковных служб и старалась присутствовать на всех, подчас сама читая шестопсалмие, часы, канон... Ела она лишь обычную скудную монастырскую пищу из деревянной монастырской утвари.

С таким же смирением служила княгиня больным. Она жила в одной из больничных палат, никогда не закрывая двери, чтобы и в ночное время слышать стоны и жалобы страждущих и идти им на помощь. К тяжёлым больным она вставала по нескольку раз за ночь, мыла, давала лекарства, утешала... И всё это – с видимой лёгкостью, радостностью. Забывая недуги собственные.

Больница Покровского монастыря не имела себе равных нигде в Империи – в монастырской лечебнице могли принимать по пятьсот больных в день, а уже спустя год после её открытия в этих стенах были сделаны первые рентгеновские снимки. Смертность при операциях не превышала 4%, что в те времена было просто невообразимо. Из трёхсот сложнейших операций в год лишь десять оказывались неудачны. В монастырской аптеке любой малоимущий мог бесплатно получить выписанные ему лекарства, так как производились они в самой обители.

Александра Петровна несла свой подвиг почти два десятилетия. А не минуло и того срока с её кончины, как монахини со слезами вынуждены были отбивать её имя с надгробного камня – чтобы «борцы за народное счастье» не осквернили дорогого праха за принадлежность к Августейшей династии...

Надёжин стоял, прислонившись спиной к стене, собираясь с силами. Вроде и рукой подать до Никольского, а как же тяжело, оказывается! И шагу ступить сил нет! Мелькнула мысль: а не возвратиться ли? Но отринул решительно: надо дойти. Необходимо.

Пошёл медленно, шатко. Был бы поблизости из сестёр кто – помогли бы. Но они – на службе все...

Долог оказался путь. Когда, наконец, переступил, дрожа от слабости, порог храма, была уже середина службы. Алексей Васильевич, стараясь не обращать на себя внимания, прошёл в придел преподобного Серафима Саровского, перекрестился на образ чтимого святого. Присел в изнеможении на лавку у стены. Смотрел подёрнутым пеленой взглядом на светлый лик. Молился без слов. О Сонюшке и детях. О Марочке. Обо всех дорогих сердцу людях... И тоскливо защемило в груди: когда бы домой теперь! К ним!.. Да когда ещё силы вернуться, чтобы столь дальний путь одолеть? Да в революционной круговерти этой? Батюшка Серафим, пособи! Доведи до дома! И как-то потеплело на душе, точно бы отозвался преподобный на слёзную мольбу...

Служба окончилась, а Надёжин всё сидел неподвижно, погружённый в своё, полубесчувственный от изнеможения, но успокоенный, просветлённый. Впервые за всё это время явилась в душе уверенность, что скоро он всё-таки будет дома и обнимет своих.

Чья-то рука тронула его за плечо, и вкрадчивый голос произнёс укорливо:

– Что же вы не сказали, что хотите на службу пойти? Рано вам ещё выходить было. К тому же одному.

Матушка София качала головой, а глаза её радовались. Радовались ему, тому, что он смог этот краткий путь преодолеть.

– Да я ведь по наитию, – отозвался Алексей Васильевич. – Ничего, дошёл. Теперь бы обратно ещё...

– Раз сюда дошли, то и назад сможете, – ободряла игуменья, помогая ему подняться. – Слава Богу, силы к вам возвращаются. Знать, сильно молятся о вас... Иначе бы уже не встать вам. Даже в нашей больнице не выходили бы. Ведь позвоночник! Очень я боялась паралича... А ещё, знать, Александра Петровна помогла вам. Она же, когда в Киев приехала, параличная была. И нежилица... А Почаевская её на ноги поставила. С того наша обитель и началась.

– Жизнь богата чудесами, – проронил Надёжин, щуря отвыкшие от света глаза на небо.

Они медленно шли по сырой дорожке. Матушка София бережно поддерживала Алексея Васильевича под локоть, чуть улыбалась, ободряла ласково:

– Да вы молодцом совсем! Залежались, вижу, на койке больничной. Будем теперь всякий день с вами совершать небольшие прогулки. Покажу вам обитель нашу... Вы ведь ничего ещё у нас не видели тут. Вот, осмотритесь, окрепнете, а там найдём способ вас отправить домой...

– Скорее бы! – вздохнул Надёжин. – Стосковался по своим... Так бы и побежал бегом! Да где уж! – стукнул досадливо костылём о землю.

– Ничего-ничего. Вы и не заметите, как быстро время пройдёт. Скоро увидите их... А пока, чтобы отвлечься вам, не хотите с ещё одним чудом ознакомиться?

– Ознакомиться с чудом? Это как же?

– В нашей Ржищевой пустыни, что здесь недалеко, одна из послушниц в конце февраля выпала в летаргический сон. Как раз на второй неделе Великого Поста...

– В самые дни отречения?..

– Именно! Сорок дней её не могли добудиться, а в Великую субботу очнулась сама. И рассказала, что сподобилась узреть в это время. Алексей Васильевич! Это потрясает! Сон её был о судьбе Государя... И... о всех нас... Она видела Антихриста, облачённого в алые одежды, и ангелов, и мучеников за Святую веру... – игуменья взволновалась, бледное лицо её зарумянилось, заблестели вдохновенно лазоревые, лучистые глаза, как бывало ещё в «Отраде...», на памятных беседах, когда говорила она о предметах особенно дорогих её сердцу. – Она видела сидящих за столом святых в разноцветных одеяниях, источавших чудный свет. А над этим сонмом в ослепительном сиянии сидел на престоле дивной красоты Спаситель! – матушка прервалась, указала на стоящую рядом скамейку. – Может быть, хотите присесть? Передохнуть немного?

– Да, пожалуй, – кивнул Надёжин, не спешивший возвращаться в опостылевшие стены больничной палаты. – Но продолжайте же, матушка! Что было дальше?

Усадив его и присев рядом, игуменья продолжила рассказ:

– Одесную Господа сидел... наш Государь в окружении светлых Ангелов. Он и сам был подобен ангелу! В полном царском одеянии, в блестящей белой порфире и короне, со скипетром в правой руке. Господа наша Олинька едва могла рассмотреть из-за ослепительного света, но Государя видела отчётливо... Святые мученики беседовали между собою и радовались, что последние времена уже близко, что скоро верные сподобятся пострадать за неприятие печати Антихриста. Они говорили, что церкви и монастыри будут уничтожены, а перед тем из монастырей будут изгонять живущих в них. И все верующие будут гонимы и мучимы... В ту пору Государя уже не будет среди них, ибо земное время его иссякает. Когда же придёт сам Антихрист, то Святая Лавра и все верные будут взисканы на небеса...

Алексей Васильевич слушал заморожено, позабыв даже о головокружении и ломоте во всём теле.

– Поразительно! – только и сумел выдохнуть он.

– Сёстры записали дословно её рассказ, – сказала матушка София. – Хотите прочесть?

– Непременно! Я очень благодарен вам за такое предложение, – Надёжин покачал головой. – Отчего мы так глухи? Ведь на каждом шагу даются нам указания, предупреждения... А мы ничего не замечаем! Кажется, расступись теперь море, сдвинься горы – и то бы не произвело впечатления ни малейшего! Став лишь предметом для учёных споров о свойствах материи, которой теперь пытаются объяснить то, что объяснить невозможно. Люди жалуются, что Бог больше не говорит с ними, как бывало в древние времена, сокрыл лик свой от них... А ведь он всякий миг не просто говорит, но вопиёт к нам! А мы заградили уши и зажмурили глаза... Да, матушка, наступают времена предречённые. Остаётся лишь уповать, что дни эти будут сокращены.

– Они и без того кратки, как миг, – заметила игуменья, взглянув на небо. – Вот, и солнце уже сходит... Ещё один день позади. И слава Богу!

Ещё много дней осталось позади, пока силы возвратились к Надёжину. Наступил 1918-й год, начало которого сковало Киев леденящим ужасом. Хоть и ненадолго пришли большевики в город, а страшной зарубкой остались эти дни в его летописи... Сотни расстрелянных офицеров и штатских, горы изуродованных тел в городском саду, куда родные ходили искать своих мертвецов, терпя глумления палачей, кровавая бойня в киевском театре... Был разорён госпиталь княгини Барятинской, врач которого повредился рассудком от созерцания происходящего. Врывались звероподобные «борцы за народное счастье» и в обитель, пугая сестёр и больных, среди которых было немало офицеров, скрывавшихся в монастырских стенах от неминуемой расправы. Но, видно, сама Царица Небесная охранила от беды своим покровом...

Большевики властвовали над городом считанные дни. Вскоре вся их разбойничья ватага вынуждена была убраться, уступив город победительной германской армии...

Тяжко было от позора, что враг, с которым сражались столько времени, хозяйничал теперь в самом Киеве, но и успокаивало это: кайзерова армия не красная банда, она, по крайности, даст истерзанному городу порядок... Офицеры переживали позор особенно остро. Но Алексей Васильевич всё же глубоко чужд оставался войне, офицерской закваске. Поэтому вид немецких касок на улицах Киева не приводил его в отчаяние. К тому же он, наконец, ощущал себя достаточно окрепшим для того, чтобы пуститься в путь на родину...

Но прежде, несмотря на всю тоску по дому, Надёжин решил истратить лишние сутки на важный для себя визит... От матушки игуменьи он знал, что совсем недалеко, на Черниговщине, в усадьбе князей Жеваховых Линовица живёт Сергей Николаевич Нилус. Живёт уже без малого год, покинув Валдай, где после революции жизнь стала слишком опасной и трудной. Сама матушка навещала его летом, спеша повидать дорогих людей, пока не пришли грозные дни. Теперь она не решалась оставить обитель, и Надёжин отважился ехать один. Он не мог не навестить человека, которому чувствовал себя обязанным, перед которым склонял голову. Быть может в последний раз в этой земной жизни увидеть...

Черниговщина! В отличие от центральной России, где не хватало продовольствия, здесь ещё царило радующее глаз изобилие. И мужички местные не тревожно глядели на чужака, а с привычной хитрецей – словно надкусывая. Один говорливый старичок любезно согласился подвезти Алексея Васильевича три версты от железной дороги до «жеваховщины» на запряжённой чалой кобылкой телеге. Всю дорогу слушал Надёжин напевно-переливистую малоросскую речь, любовался первой листвой, окутавшей стосковавшиеся за зиму деревья, с удовольствием подставлял солнечным лучам землистое после болезни лицо. Вбирал в себя торжествующую в природе жизнь...

Наконец, со взгорка открылся вид на усадебный парк.

– Вона она, «жеваховщина»! – кивнул старик.

– Ну, спаси тебя Христос, дед! – поблагодарил Алексей Васильевич, любуясь стройными дубами и ясенями, раскидистыми липами... Вот уж должно быть здесь летом хорошо! В эта-

ких кушах! Да под южным солнцем... Ах, как хотелось теперь этого солнца! Напитаться им, отогреться в его лучах...

Позади куш скромно прятался двухэтажный домик светлого дерева, от которого веяло уютом и приветностью.

Иные гости угадывают к обеду, а иные – к обедне. Надёжин принадлежал к числу последних. В Лиовицу он прибыл ровно к началу домашней службы Нилусов. Ещё от матушки Софии он знал, что с благословения архиепископа Феофана Полтавского в усадьбе была освящена домовая, как бы катакомбная церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы и преподобного Серафима. В её устройстве деятельное участие принимала сама игуменья со своими монахинями, а освящал её отец Димитрий (Иванов), настоятель Покровского храма монастыря. Теперь Алексей Васильевич сподобился увидеть эту церковь воочию.

Располагалась она на втором этаже дома. Угол комнаты был отделен перегородкой, образуя алтарь. Сама перегородка была обтянута синим атласом с позументами по краям. Этот же позумент обрамлял иконы Спасителя и Божией Матери. Над ними висели лампы. Царских врат не было, висел лишь голубой атласный занавес. По бокам стояли подсвечники. За престолом висела семейная икона Сергея Александровича, изображавшая Спасителя в терновом венце. Рядом с нею – большой образ преподобного Серафима...

Молились супруги Нилусы по дивеевскому уставу: читали акафист преподобному и параклис Царице Небесной. Вторил им и Алексей Васильевич, не сводя взгляда с лика батюшки Серафима. Вспомнилось, как гостили с Сонюшкой в Дивееве. Что-то там теперь? И даст ли Бог вновь побывать там, поклониться святыне? Но да на всё воля Его... Церковь не в брёвнах, а в сердце человеческом... Всё может отнять и порушить бесовское полчище, но молитвы сердечной отнять не сумеет. И в том единственное спасение в злую годину...

– Сергей Александрович, а встречались ли вам указания о грядущей судьбе России в дивеевских архивах? Не рассказывали ли что-нибудь знавшие преподобного? – спросил Надёжин за ужином. Этот вопрос – предсказания – крайне занимал его последнее время. И Сергея Александровича, по-видимому – несколько не меньше. Заволновался он, заходил широко по комнате, поглаживая обрамляющую похудевшее лицо белоснежную бороду. Но не сразу ответил. Лишь собравшись с мыслями.

– Я вам одно только скажу... Батюшка часто говорил близким о грядущих страшных днях. Говорил, что по времени Господь даст еще некий срок России на покаяние. Но если Россия все же не покается, то гнев Божий изольется на нее в еще больших размерах... А иначе и быть не может! У нас всё спорят об идеях... О политике! Экая важность! Политика, может, и имеет значение, но лишь вторичное. Потому что никакая политика не поможет, если Россия, народ русский не возродится духовно, сердцем своим не обратится ко Христу. Если погибнет Православная Россия, то на земле утвердится царство тьмы, что повлечёт неминуемую гибель всего человечества. Мы – последний рубеж... А они... – Нилус повёл рукой, – не понимают того! У них на уме партии, лозунги...

Надёжин задумчиво слушал. Партии, лозунги... В самом деле. Даже в больнице все споры сводились к этому. К политике. Керенский, Корнилов, учредилка, всевозможные «измы»... Звонкие, как всё полое, идеи, столь же звонкие их разносчики. Упали на кого угодно, искали вождей, и об одном только не вспоминали... Или изредка лишь. И без сердца. А ведь то не большевики были. И не временщики. Всё, большей частью, вполне патриотично настроенные русские люди. Многие – офицерского звания.

До глубокой ночи длился разговор. Напоследок процитировал Сергей Александрович из мотовиловских записок:

– Во дни той великой скорби, о коей сказано, что не спаслась никакая плоть, если бы, избранных ради, не сократились оные дни, в те дни остатку верных предстоит испытать на себе нечто подобное тому, что было испытано некогда Самим Господом, когда Он на кресте вися,

будучи совершенным Богом и совершенным Человеком, почувствовал Себя Своим Божеством настолько оставленным, что возопил к Нему: Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? – Подобное же оставление человечества благодатию Божиею должны испытать на себе и последние христиане, но только лишь на самое короткое время, по миновании коего не умедлит вслед явиться Господь во всей славе Своей и вси Святии Ангели с Ним. И тогда совершится во всей полноте все от века predeterminedенное в Предвечном Совете.

Словно напутствовал на путь многотрудный, на испытания грядущие. Расставались на утро, словно родные. Да и как иначе? В малом-то стаде среди зла густеющего, клочущего, стадо это рассеивающего и сокращающего, как овцам его друг другу родными не быть? Тут-то, когда несколько овец того малого стада сойдутся, и постигается: где трое соберутся во Имя Моё, там Я посреди них. И потому нет ощущения малости, но наоборот полноты... Потому что Он – посреди. И в нём все верные – одна семья...

Покинув гостеприимную Линовицу, Надёжин отправился в дальний путь. Он был наслышан о том, в какой ад обратилась такая обычная прежде езда по железной дороге. Сумасшедшая давка, чудовищная грязь, всевозможные бесчинства. Но не страшило это. Если уж от ранения смертельного поднялся, то неужто до родного дома не доберётся? Да и на кой он «товарищам»? Не офицер, не буржуй, не мешочник... Заурядное лицо в толпе. Да и у преподобного благословения на дорогу испросил. И верилось – охранит, не попустит беды.

В Глинское Алексей Васильевич добрался в радостный день. В праздник. В самую Лазореву субботу. Шёл по селу и краем глаза примечал, как крестятся бабы, завидя его. Поди схоронили уже! А ныне взирают, как на Лазаря, из гроба восставшего. А Сонюшка что же? Тоже схоронила уже? Или ждала? Верила? Так вдруг волнение разобрало, что в дрожь, в пот кинуло. И хотелось нестерпимо бегом припуститься, но удерживался.

Наконец, на крыльцо родное ступил. Слава Богу, дом не пуст, не заколочен, видно, что уход за ним. Изнутри щебет детский слышался. Вздохнул глубоко, постучал. Раздались шаги мягкие... Не Сонюшкины шаги...

Миг, и открылась дверь. Нет, не бредовое было виденье там, в лазарете... Её лицо он видел над собой! Как лик в окладе убруса-платка...

– Марочка...

Она только руку к груди подняла. И вдруг осела на пол, закрестилась часто:

– Жи-вой... Господи... Жи-и-вой...

Глава 2. Воскрешение Лазаря

Более страшного мгновения в её жизни не было. Более страшного дня. Чем тот... Когда среди привезённых в полевой лазарет раненых, беспорядочно сваленных санитарями на телегу, она увидела его лицо. Неживое... Так показалось в первый миг. Но он дышал ещё. Едва-едва. Опытному глазу нетрудно было определить – с такими ранениями из двадцати один выживает.

И хирург, он же начальник госпитальный, отмахнулся сразу:

– Этот нежилец, ни к чему и время тратить. Тащите следующего, кому ещё можно помочь.

Всегда-то еле притиралась Мария с ним. Был доктор Торопенко хорошим специалистом, но жестоким человеком. А врач, даже на войне, даже видя ежедневно десятки смертей и бездну человеческих страданий, не имеет права ожесточаться. Относиться к больным, как к материи для своего искусства. Врач – это не набор знаний и медикаментов. Это работа души. Не может быть хорошим врачом тот, кто словом готов убить... А Торопенко на такое слово щедр был. Натерпелись от него и больные, и санитары с сёстрами.

В отчаянии бросилась Мария к Валерию Никаноровичу. Молодой врач, он не был ещё таким признанным специалистом, как Торопенко, но отличался большой аккуратностью, а, главное, умением обходиться с людьми. Несмотря на убеждённый атеизм и романтическое сочувствие революции, он, действительно, любил людей. Жалел их. Такое подчас встречается в жизни: в атеисте оказывается больше христианского духа, нежели в ином «христианине». *Да любите друг друга! По тому, как вы относитесь друг к другу, мир узнает, что вы Мои ученики.* Именно восхищённые духом любви, царившим среди христиан, обращались к истинной вере язычники. Но, вот, до того оскудела она, что иной язычник может служить примером. Не зная Христа, он по духу своему более чадо Его, нежели именующие себя таковыми, а на деле давно отвернувшиеся Отца...

Мария любила Валерия Никаноровича за его чуткость, мягкость, незлобивость. За то, что даже на несправедливо гневные выпады Торопенко не отвечал он тем же. Говорил, что спор с человеком глупым неизбежно принижает умного. Внутреннее чувство собственного достоинства не позволяло ему сходить на уровень обидчика.

Поначалу Валерий Никанорович тоже лишь развёл руками:

– Вы же понимаете, Мари, тут ничего нельзя...

И тогда она упала перед ним на колени, не стесняясь сторонних взглядов:

– Богу всё возможно! Только вы помогите!

Доктор испугался такой горячности прежде тихой сестры:

– Встаньте, встаньте! Я всё сделаю, что в моих силах! Успокойтесь!

Милый, добрый Валерий Никанорович, он, действительно, сделал всё, что мог. И даже более. Но по окончании операции всё-таки предупредил:

– Шансов у него почти нет. Хотя... Чудо, что он жив до сих пор.

– Он выживет! – твёрдо сказала Мария.

– Ну, разве что вашими молитвами! – развёл руками доктор.

Молитвами... Да вся душа её обратилась тогда в одну непрерывную молитву. Один непрерывный вопль к небесам. Чтобы он жил... Чтобы, если надо, её жизнь была взята, или обречена на муки. Какая в сущности малость... На костёр бы взойшла счастливо, если бы он поднялся здоров со своего одра.

И он выжил. Валерий Никанорович удивлённо покачивал головой, поглаживая маленькую бородку:

– Торопенко бы теперь сказал, что его золотые руки и мёртвого оживят. Хотел бы и я так сказать о своих, но по совести не могу приписать своему искусству этот редкий случай... Жаль, что не смогу наблюдать вашего протеже до его выздоровления. Если он встанет на ноги, то, признаюсь, я буду всецело посрамлён в моём скептицизме.

Жаль и Марии было, что не сможет находиться при нём неотлучно... Раненых увозили в тыл, а ей должно было ещё оставаться на фронте. С болью в сердце проводила его, так и не дождавшись осмысленного взгляда, слова, до безумия тревожась, что станет с ним. Когда бы знать, куда везут!.. Да где там...

А через некоторое время из Глинского пришло каким-то чудом дошедшее письмо. Писала сестра. О делах семейных. А среди прочего о том, что заболела Сонюшка. Да по всему видать, серьёзно. И того гляди останутся малыши без призора. Чего, конечно, Анна Евграфовна не допустит...

– Стало быть, не моими молитвами... – проронила Мария, прочтя письмо. Не могла Сонюшка беду не почувствовать. Слишком любила его...

– Что-то случилось? – осведомился проходивший мимо Валерий Никанорович.

– Да. Письмо из дома... Там у нас случилось кое-что. И я должна ехать... Незамедлительно.

– Так вы нас покидаете? – доктор был огорчён.

– Вряд ли и вы долго задержитесь здесь. Фронта уже почти нет...

– Ваша правда. Что ж, позвольте в таком случае от всего сердца пожелать вам доброго пути.

Мария сняла с шеи ладанку, подала Валерию Никаноровичу:

– Вы не верите, я знаю. Но у меня больше нет ничего... Поэтому примите! В благодарность, что тогда не отказали в помощи. И на память... Я за вас всегда молиться буду.

Доктор принял подарок и даже надел на себя, крепко пожал Марии руку:

– Поверьте, мне очень дорог ваш дар. Бога я не знаю... Но в вас впервые увидел Его мир... Другой... И признаться, мне немного жаль, что он мне недоступен. Должно быть он, реальный или вымышленный, не суть важно, прекрасен.

В путь она пустилась, менее всего думая о том, сколь небезопасен он стал. А следовало бы и об этом подумать. Молодой женщине одной среди пьяной орды дезертиров, оккупировавших поезда и запрудивших станции – как путешествовать? Немало страхов натерпеться пришлось за дорогу. Однажды какой-то подвыпивший солдат стал отпускать грязные шуточки по её адресу и делать непристойные намёки. Дружки его лишь похохатывали вокруг. Но всё же и среди них нашёлся один, пресёкший «веселье». Отшвырнул в сторону обидчика, погрозил и ему, и притихшим остальным:

– Я офицеров и прочую сволочь ненавижу, но, если хоть один из вас гад сестру тронет, башку откручу. Такие, как она, нашего брата из-под пуль выносили, от смерти выхаживали! Или шишимор вам мало?!

А сколько ещё приключений выпало – не пересказать. Всё же обминула беда. Добралась Мария до родного Глинского. И прежде чем своих проведать, напрямик к Сонюшке поспешила. А та и не поднималась уже... Лежала на высокой подушке восковая, измученная. Встрепенулась порывисто к ней:

– Марочка! Вернулась! – и помедлив. – Ты Алёшу не видела? Не знаешь ли что о нём? Так давно писем нет... А сон ещё видела... Страшный! Тут и слегла... Видишь, что со мной... Спасибо ещё Анна Евграфовна не забывает, да Аглаша каждый день приходит помогает...

Рассказала ей Мария, что знала. От себя приукрасив немного, желая уверить больную, что с её мужем уж точно всё благополучно, и совсем скоро он будет дома. Поверила, засветилась. Попыталась даже подняться – собрать на стол. Но не достало сил.

Прибежали со двора дети, повисли на высокой, тонкой крестной. Расцеловала их по очереди и принялась налаживать самовар. С того дня она поселилась у Сони, ухаживая за нею, приглядывая за детьми и скудным хозяйством.

А морок всё гуще становился. Истерия зла охватывала землю, называвшуюся уделом Пресвятой Богородицы. Даже крепкие умы и души мутились от бесовской круговерти, смущаемые вездесущей, нахрапистой ложью. Вот, и в Глинском закрутилось недобро. Столько лет миром жили, а теперь решили мужики, что баре их теснили и грабили. Да не решили даже... А несколько безобразников, из пришлых, да из фронтовиков вчерашних, с фронта давших дёру, да из голыдьбы – крикнули. И подхватили, не размыслив. Одним лишь и руководясь – поживиться от барского богатства. В такие моменты и разумные люди, втянутые в общий водоворот, забывают себя, разбуженному инстинкту зверя следуют. После, когда прочнутся, может, и плакать-каяться станут, но не в этот час! Тут уж людей нет, народа нет, а есть толпа, стадо... Свора... Стая... Инстинкты которой зверины. Такая стая едва не растерзала Марию в холерный год. И ведь тоже в ней не разбойники были, не злодеи. А большей частью добрые люди... Лишь одним только можно стаю остановить – прежде преступления пробудить в ней человеческое. Пробудить разум, мороком помутненный. Иначе – пропадёшь...

Пропадёшь, как пропал бедный Клеменс, ставший гневно бранить явившихся к его дому мужиков, грозить им. В этой брани и угрозах звериный инстинкт услышал слабость. И лишь рассвирепел. Впрочем, могло и обойтись, если бы не нашлось среди толпы горячей головы из дезертиров. Он-то и застрелил барина. Так. Для забавы. И для утверждения себя в глазах окружающих. До того, как зверь увидел кровь, с ним ещё можно сладить, но после – никак. Запах крови пьянит... Теперь уж не дознаться, кто именно глумился над телом убитого, кто громил усадьбу, кто просто тащил из неё плохо лежавшее (не пропадать же добру!) – ещё и лоб крестя за упокой хозяина, кто в итоге пустил красного петуха... Миром разграбили... Но убили всё-таки не миром. А потому, прочухавшись, осознав грех собственный во извинение его в собственных же глазах разгневались на стрелка. Мол, кабы не он, так они бы с барином без крови поладили. Он хоть и дрянь-человек был, а убивать его не хотели. А к тому глумиться... Стыдно было мужикам. Но что поделать? Не добро же растащенное возвращать наследнице. А вот убивца попросили из деревни прочь. Выдать – не выдали. Покрыл мир лиходея от закона, но от себя отторг.

Пришла и к дому Аскольдовых ватага. Одни в подпитье изрядном. Другие трезвые вполне. Здоровые, разумные. Свои глиньские мужики, с которыми столько лет трудились вместе. Молодёжь швыряла в окна камни – побили стёкла. Старики осаживали, но перевес был за молодняком. Да и старшие, коим бы удержать, на поводе шли. Чужое добро – великий соблазн! А к тому распалили их – в доме два офицера! Хозяйские сын и брат! Родиона в ту пору в Глинском не было, а Жорж и впрямь лишь днями возвратился. Кто-то и подзудил фронтовиков-дезертиров...

Николай Кириллович велел жене и дочерям запереться в комнатах. А сам вышел к мужикам. Один. Не выпуская изо рта трубки. Прихрамывая – мучил его ревматизм. И держа наготове заряженное ружьё. Увидев направленный на себя ствол, крикуны немного поутихли.

– Я понимаю, что вас много, а я один, – произнёс Николай, – а, значит, вы, если пожелаете, меня, конечно, убьёте, как Клеменса. Но учтите, что прежде того, все патроны, которые есть в этом ружье, найдут свои цели. Как многим из вас известно, промахов я не делаю. Если есть желающие связать меня, или моего свояка, или кого-либо ещё в этом доме, шаг вперёд.

Толпа замерла. Никто не решался двинуться с места. Слишком знали барина. Знали, что шутить он не любит, а рука у него твёрдая, и глаз не даёт осечек.

– Стало быть, нет желающих? Превосходно-с! – Аскольдов опёрся рукой о перила, не сводя ружья с толпы. – В таком случае, поговорим, как разумные люди. Я вижу среди вас

немало зрелых мужей. К ним и обращаюсь. Мы жили бок о бок почти четверть века. Я знаю вас и ваши семьи, равно как вы знаете меня. Я когда-либо обманул вас в чём-либо?

– Не бывало такого! – крикнул за всех один Матвеич, Аглашин отец.

– Я разорил кого-то из вас? Не заплатил кому-либо за работу?

– И того не бывало... – прогудело в ответ.

– Не моими ли заботами явились в Глинском больница и школа? Не моя ли жена давала содержание больным, увечным и выжившим из сил? Не её ли звали вы крестить ваших детей, и она никогда не отказала и не забыла заботой ни одного из своих крестников? Не наша ли сестра лечила многих из вас? Теперь несколько негодяев, не имеющих за душой ничего, не ведающих ни чести, ни совести вздумали поживиться барскими харчами. Почему бы нет? Ведь у нас нынче не проклятый царизм, а революционная законность! Всё дозволено-с! С них спрос невелик. Они оглашенные. Но вы-то! Вы!.. Неужели вы не понимаете, что эта революционная законность завтра придёт в ваши дома? За вашим добром? За вашими жёнами и дочерьми? Придёт, знайте это уже сейчас! Я знаю вас, как людей разума и дела. Людей основательных. Значит, готовьтесь, что грабители придут и к вам. Потому что, разорив «буржуев», они не смогут остановиться. Грабитель не способен к труду, он может только грабить. Грабить тех, кто нажил добро своим трудом. С каких же пор вам стало по пути с татями и отщепенцами? Кто застрелил Клеменса? Кто был вожаком там? Конокрад! Шельма, которую прилюдно лупцевали на площади! И за конокрадом-то пошли! И не стыдно ли? Куда вас конокрады заведут – поразмыслили? Ну, что молчите?!

Молчали мужики. А некоторые и отходили прочь тихонько. Пьяно рывкнул один из вожаков:

– Да что вы уши-то поразвесили! Кого слушаете?! Контру слушаете! Как он наших братьев честит!

– Замолчь, Миколка! – грозно осёк его кузнец. – Тебя ещё не слышали, орателя... А Николая Кирилыча не замай. Не тебе чета, чай!

– Ах ты, кулацкое отродье, ужо мы тебе! – зло прорычал побагровевший Миколка, и тотчас получил тяжёлую оплеуху от Матвеича.

Разошлись мужики, а на другой день несколько из них, включая и Матвеича с кузнецом Антипом, пришли к Николаю делегацией. Аскольдов принял их в кабинете, не чинясь и не поминая вчерашнего. Говорил за всех Матвеич, недавно избранный старостой:

– Мы, стало быть, Николай Кирилыч, повиниться пришли за давешнее. Бес смутьянов наших попутал. А мы с ними на тот случай пошли, чтобы удержать от безобразия, если что. Не со злым умыслом пошли, верь слову. Ты сына моего в люди вывел, нешто я тебе такой монетой оплатил бы?

– Верю, Матвеич. И зла ни на кого не держу. Кроме разве что... конокрадов...

– Мы к тебе, Николай Кирилыч, ешшо и совет держать пришли. Как жить дальше будем. Окрест сам знаешь, что творится. Помещичьи земли сплошь захватывают, безобразят... Ты-то что делать полагаешь?

– А что делал, то и полагаю делать, – отозвался Николай. – Работать.

– А не боишься?

– Все под Богом ходим. А насчёт земли скажи мужикам, что они могут пахать её этот год. Закона о помещичьих землях пока нет, кто станет завтра у власти – бабушка надвое сказала. Я не хочу смуты. И одному мне с моими домочадцами этой земли не возделать. Поэтому пусть мужики работают. Если наша власть установится, и помещичьи земли признают нашими, то даю слово, что урожай с мужиков не стребую. Но если кто-либо посмеет снова посягать на мой дом, то разговоров я более разговаривать не буду. Так и передай всем.

Тем и закончилось дело до времени. Голод пока не тянул к Глинскому своих костлявых дланей. Жизнь шла своим чередом. Разве что тревога висела в воздухе. Тревога перед грядущим днём...

Для Марии же и Сони превыше всех тревог оставалась одна. Неотступная. С *ним* – что же? Ни письма, ни весточки... А Сонюшка таяла день ото дня. Словно свеча. Вздыхала иногда тоскливо, когда детей не было рядом:

– Не дожидаться мне моего Алёши... Ты, Марьюшка, сирот-то моих не оставь. Они тебя любят. Ты им меня заменишь... Мне спокойно будет, если я буду знать, что они с тобой.

Мария обещала. Неужто бы оставила сирот? Сониных детей? *Его* детей? Да ведь ей они – как родные. Души в них не чаяла. Обещая, всё же ободряла больную:

– Он приедет. Он уже совсем скоро приедет.

Вот и Пасха приблизилась. Посветлело на душе, как всегда в эти дни бывало. Скоро запоют по церквям радостно: «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ...» Один этот тропарь душу ликованием наполняет, живит. А в преддверье – Вербное... В пятницу нало-мала веточек, освятила. Теперь стояли они на окошке – скромные, светлые... Чистые. Читала детям Евангелие о воскрешении Лазаря. Любимое наряду с исцелением кровоточивой и вос-крешением дочери Иаира. Словно наяву видела она это: выходящий из пещеры обвитый пеле-нами Лазарь, встречаемый самим Господом и сёстрами... Хвалящие Бога и радующиеся вели-кому чуду люди. И – безумные. Озлобленные. Мрачными очами своими не способные видеть света. Ненавидящие его. Эти – сговариваются убить Господа. А с ним и Лазаря. За то лишь, что он, воскресший мертвец, самим существованием своим обличал их. Как всякий, кто не вмещается в узкие рамки материи, того, что можно объяснить... Пожалуй, фарисеи были, в своём роде, материалистами. Они знали лишь форму. Лишь внешнее. Знали обряды. А Духа не ведали... Поэтому ярлись и истребляли носителей Духа. Так и теперь истребляют праведных, как свидетельство о бытии Божиим. Но... «смерть, где твоё жало?»

В этот-то момент и забарабанил кто-то в дверь. И что-то толкнуло изнутри в грудь. Кину-лась отворять. И великим усилием воли удержалась, чтобы от избытка нахлынувших чувств не повиснуть на шее у него, не разреветься по-бабьи, уткнувшись лицом в его грудь, не поце-ловать хотя бы руки его...

– Живой! – повторила несколько раз сквозь слёзы и перекрестилась счастливо: – Слава Богу!

Глава 3. Матвейч

Матвейч морщился, то и дело пощупывая жилистыми пальцами впалую грудь. Прихватывало в последнее время, придавливало вдруг, когда особенно густо стягивались тучи, чернея непроглядно в гнилом углу.

– Быть дождю! Как пить дать... Ещё Светлая неделя... Прости Господи!

А ещё суетилась непрестанно Катерина. Экая ж бабища стала! Не подумаешь, что когда-то девчонкой-соплюхой была. Теперь вона – силища какая! Иной раз и втянешь опасливо голову в плечи, как она развопится, осерчав на что-нибудь. Того гляди огреет чем. Раздобрела Катя, огрубела. Голос-то и прежде зычный у ней был, а ныне – хоть солдатней командуй! Хотя с ватагой ребятишек – как ещё? Только гляди за бедокурами и одёргивай голосом, а то и тяжёлой рукой, когда расшалятся.

Дети... Никакого покою от них. Счастье-то оно, конечно, счастье. Но ему, Матвейчу, по летам бы уже внуков тетешкать, а тут... Внуки – вот это, пожалуй, действительно, счастье. Вон, скажем, Филимона взять. Он Ваньку своего потихоньку ремёслам обучает, в поле с собой берёт. Но всё ж главное ярмо – на сыне лежит. Ему Ваньку кормить-поднимать. А деду что? Тетешкать да опытом делиться. Подспорьем быть.

А детей ещё поди подыми. Мал мала меньше... Старшой-то пока в помощники не вырос, а про остальных и говорить нечего. А ведь без него, Матвейча, что с ними станет? По миру пойдут, как нищелюды. Только в нынешнее время собачье, пожалуй, и подаяния не выклянчишь...

Одолевали Матвейча мрачные думы. Даже по ночам не спалось от них. Ворочался по-стариковски. Как, как это лихолетье пережить? Как детей через него провести? Как их на ноги поставить? И как ставить и вообще жить, если и сам чёрт не знает, что завтра на белом свете поделается?

Вона, явились бузотёры. Съездили, мать их так, повоевали. Ещё теперь не знаешь, что лучше: чтобы лежать во сырой земле там остались, или такими явились домой... Ведь, калекками пришли. Не физическими, то бы горько, но не так. А по душе. Ни Бога им, ни Царя... Но ладно бы Царя, но ведь ничего святого! Словно чужие на чужую землю пришли. И вот желали новый уклад учреждать. Декретами. Не все, конечно, таковы. Из тех, что с фронта дёру не дали, многие просто и не вернулись ещё. А – дезертиры. Молодцев этих на каждую деревню по пальцам счесть, но сколько же бед от них!

Сёмка Гордеев в своём доме какую-то морду повесил. Оказалось, Карла Маркс. Кто таков спросишь, только молчит важно, и смотрит презрительно. Точно бы он с этим Карлой водку вместе пил... Вот и шастают такие «красавцы», руки в брюки, сигарка в зубах, по деревне. И вещают, что все старые порядки надо долой, а новые они, головачи, установят. Да ещё пришлые какие-то, плюгавые, носы свои кривые суют. Устроили тут какую-то сходку, орали разное. Де, мол, крепостной гнёт, да крепостное рабское нутро, да нужно-то всё менять и свободную жизнь учреждать под руководством класса-гегемона... Откуль такой гегемон? Старики, знамо дело, орателя на смех подняли с его гегемоном.

Ишь ты! Свободу они, сукины дети, дадут, вишь...

А, вот, он, Игнат Матвеев, всегда свободным был. И предки его были свободными. Вольными. Никто в крепости не состоял. А потому жили всегда порядком. Отец Игната никогда не бывал празден. Лето землю пахал, зиму ремесленничал. На все руки мастер был Матвей Тихонич. Мог корзины плести, мог плотничать, мог валенки валять, мог сани с телегами ладить. Даже шить умел. Тулупчики всем детям исправно шил сам. Потому ни холода, ни голода не знали. Такими же и четырёх сыновей с дочерью растил. Чуть на ноги становились, как уже

свою работу получали. Пусть малую и вовсе подчас не нужную, а зато приучались, впитывали с младенчества привычку к труду. До сих пор помнил Матвеич свои первые грабли, какие ему, трёхлетнему, дал отец. Маленькие. Несколько зубчиков всего. Конечно, в работе пользы никакой – но Игнат, работая ими, чувствовал свою сопричастность труду старших.

Сестры уже давно не было в живых, а братьев разбросала судьба розно. Старший, Гришка, недалече с семейством обосновался. Трофим, страдая от малоземелья, решил попытать счастье в дальних краях.

В 70-е годы в столичных департаментах придумали заселять Дальний Восток финнами. Размашисто начали дело. На специально приобретённых парусных судах повезли переселенцев в Уссурийский край. И всё-то дали им: прекрасные дома, склады по американским образцам, инвентарь, при виде которого у русского мужика только глаз завистливо заблещет. Только не в коня корм. Очень потом Трофимка потешался в письмах – какой же это дурень удумал финнов переселять? Да разве ж им там выдюжить? Сбежали финны. Восемь десятков к Трофимкину приезду едва ли насчитывалось.

Трофим же с семейством был в числе второй волны переселенцев. Русской. После неудачи с финнами решили головачи столичные, что такие края только русскому мужику обжить возможно. А русский мужик – известное дело – где наша не пропадала? Своим-то, знамо дело, ни судов, ни сладов не дали. Сами на лошадках и лодчонках добирались. Но добрались же! И с неизменным русским трудолюбием и основательностью за дело взялись. В считанные годы за сто тысяч душ число русских переселенцев в крае перевалило.

Невзгод вначале немало хлебнули. Но и одно великое преимущество. Не головач какой-нибудь, земли не нюхавший, её, матушку, распределял. Дозволили самим мужикам выбрать. А земля-то в тех суровых краях плодородная оказалась! Радовался Трофим. Так и осел там с семьёй.

Сам Игнат, оженясь, в отцовском доме остался – стариков допокаивать. Друг за другом ушли они. А следом и Грушу увели, осиротив детей. Матвеич тогда с горя, как головёшка, чёрный ходил. На Груше он по любви женился. До того славная и пригожая была... Лучше всех под гармонь выплясывала, звонче всех частушки певала. И Игнат не уступал ей. Ох, и выплясывали вместе кренделя! Кто кого перепляшет! Прочая молодёжь разойдётся, кругом стоит и глазеет, и спорит-галдит, чья переважит.

На свадьбе пожелал кто-то долгие годы так жить – весело, словно кадрили отплясывая... Ан не вышло...

Когда Груши не стало, многие молодухи клинья подбивали. Знали, что Игнат мужик работающий, правильный. А он и не смотрел на них. Не мог смотреть. Братья с друзьями тоже советовали: женись! Нельзя мужику одному жить. И детям без матери нельзя. Детям оно конечно. Да только когда бы мать им найти, а не мачеху. Жалел Серёжку с Аглашкой. Да вроде и приносивший уже один. От отца унаследовал рукодельность и трудолюбие. В Глинском и окрест, почитай, половина саней и телег его руками сделана была. А резные наличники? А беседки? Крылечки? Ворота? Мог Игнат и корзины плести и валенки валять, но к плотницкому делу особую любовь питал. Дерево в его руках жило.

Даже на земельный вопрос грешно бы жаловаться было. Ещё отец много сокрушался, что не имеет своей земли. Вся земля – общинная. И для обработки выделяется кусками в разных местах – треклятая чересполосица, столько напрасного труда стоящая. Горевал родитель: как в табунае живём! Столько бы доброго можно было на земле сделать, а что сделаешь, если она не своя и не в один надел сведена? Просто саму землю жаль...

Поговаривали и другие мужики, что пора на хутора разделяться и хозяйствовать по уму. Эти стремления находили горячую поддержку у предводителя уездного дворянства Аскольдова. В 1906 году, едва затеплилась реформа, с его подачи крестьяне уезда составили приговор, в котором выражали своё желание расселиться отдельными хозяйствами. Желание это было

вскоре осуществлено. Приглашённый землемер разбил земли на участки, согласно количеству душ каждого хозяйства. Если кому-то по жребии выпадала плохая земля, то надел увеличился.

С той поры и совсем ладно зажились. Надел был, правда, невелик, но куда больше при столь малом семействе? Для жизни в самый раз. А большего и не нужно.

Не успел Матвейч и глазом моргнуть, как дети выросли. А сам он обнаружил первые седые волосы в жидкой бороде. И точно по поговорке именно в эту пору случилась на его пути Катя. Ничем не была она на Грушу схожа. Худенькая, беленькая девчушка, моложе своих лет глядящая. Соплюха, одно слово. А почему-то запала в душу. Жила она в той же деревне, что и брат Гришка, соседка его была. И заезжая проведать брата, Матвейч, стал, словно невзначай, заглядывать и к Кате.

По тому, как часто он стал гащивать, Гришка (а, вернее, евонная Клавдия) смекнул, что дело нечисто. Напрямки так и врезал:

– К Катюхе, что ль, женихаешься, старый?

– С чего это ты придумал? – вскинул острый подбородок Игнат.

– А чего ж придумывать-то? Который раз вижу, как вы яблочки мочёные с нею хрумкаете.

Правда. Всегда Катерина его мочёными яблочками угощала, когда он заходил. И сама так и хрустела ими, чмокала. Девчонка совсем.

– Ну, чего скис-то, увалень? – брат насмешливо лыбился. – Катюха девка справная. Только ты того, соображай, чего тебе хочется. Если любя она тебе, так я твоим сватом быть готов. Всё улажу в лучшем самом виде. А коли блажишь на старости, то того, извиняй, но я тебя на порог на пушу, пока ты дурь эту не оставишь. Неча девке голову морочить.

Больше месяца не ездил Матвейч к брату. И за это время понял, что не в силах больше жить бирюком. Монахом. С Грушиной смерти больше десяти лет минуло. А ещё через десять лет он, поди, стариком станет. А что у него есть? Сын – отрезанный ломоть. Аглашка тоже того гляди замуж выйдет. Ни приласкать, ни обиходить некому. Да и просто – изголодался по теплу бабьему. Прежде не чувствовал так остро, а тут хоть волком вой от одиночества.

И решился. Съездил на ярмарку, купил чудной работы шаль, не постояв за ценой, а к тому ещё нарядные бусы, собственноручно вырезал искусной работы ларчик и, приодевшись, приосанившись, отправился свататься, в глубине души дрожа, что Катя может оказаться про-сватана. Теперь казалось ему, что готов он на всё, чтобы на ней жениться.

Однако, ничего не потребовалось. Родители Катерины сразу согласились на брак, да и сама невеста как будто искренне привечала будущего мужа.

Не откладывая в долгий ящик, сыграли и свадьбу. Казалось Игнату, словно вторая молодость пришла к нему. Знать, многолетний пост сказывался. Так и народились друг за дружкой четверо ребятишек. Тяни теперь возок и не покряхтывай...

А тут ещё Яшка-брат на голову свалился. Из четырёх братьев он один не связал судьбу с землёй, предпочтя ей воду. Год за годом ходил он лоцманом вначале по Волге, а затем – на «тихвинках» по каналам от Волги до Ладоги, до самого Петербурга. Возил хлеб на Калашниковскую хлебную биржу, откуда растекался он по всей Европе...

А теперь вернулся, вот, на берег сошёл братец. И пожаловал в родительский дом, своего не нажив. И не выставишь же на улицу родного брата. Хоть бы уж к делу пристроился. Что дальше поделается, Бог знает, а лето не за горами. Полевые работы на подходе. А Яшка всё трубку курит, морского волка балаганит... Вот, и прокорми ораву эту!

А в деревне, меж тем, вовсю лихо красное устанавливалось. Это во времена «самодержавного гнёта» старосту миром избирали, равно как и писаря. А тепереча извольте получать сверху! Ревком! Уездный ревком волостного комиссара назначает, волостной – сельского. А к сельскому комиссару в пару ещё и другой начальник полагается – председатель комбеда! И кого же на должности эти ставить взяли? А, вот, молодец этих! Сёмка Гордеев в комиссары

выпятился, а дружок-собутыльник его неразлучный Ерёмка, Акишки Сивого сынок – председателем комбеда! Ерёмка, как и родня его, всю жизнь разут-раздет шлялся, а ныне не скажешь! Ныне они с Сёмкой – в сапогах и в галифе, в кожанках новёхоньких. Как-то надрались до чертей, ходили по деревне, наганями размахивали. Ерёмка орал ещё во всю глотку:

– Законов больше нет! Все старые законы товарищ Ленин отменил! Мои приказы – вот закон!.. Это вам не фунт изюму, а всамделишная диктатура пролетариата и сельской бедноты! Потому – у кого оружие, у того и власть!..

И то сказать. У сельчан-то они оружие по декрету конфисковали. Под угрозой расстрела. Само собой, кое-что успели припрятать мужики, но сиди дрожи теперь, кабы не вскрылось.

Власть! Неразлучная эта пара с группой своих родичей и приятелей ходила теперь по дворам и грабила безнаказанно. «Изымала излишки». Напророчил барин Николай Кириллович! У кого хоть что-то ценное имелось – забирали себе. Веялки, молотилки, хозяйственный инвентарь... Тряпьём бабьим и то не брезговали! Своих баб рядили в него. Вон, Ерёмкина Антонина в шальке новой щеголяет. А шалька эта – Катина! Та самая, которую подарил ей Матвейч при сватовстве...

Ох, и настало времечко! Всё здоровое, сильное застыло, онемело в страхе, а кучка проходимцев распорядилась, не ведая удержу. И как жить, спрашивается?

К вечеру, когда гнилой угол всё-таки разразился противным, по-осеннему унылым дождём, в доме Матвейча собралась компания. Сперва заглянул недавно возвратившийся в деревню Алексей Васильевич. Сели ужинать с ним да с Яшкой. Катя тоже рядышком примостилась, но помалкивала. При людях она себя всегда справно мужниной женой держала. И вдруг ещё одного гостя нелёгкая принесла. Господина инженера. Замётова. С начала войны не видали его. А тут – эвона! И с чего бы появился? Прежде вроде в барской усадьбе живал... Пригляделся Матвейч. Не изменился Ляксандр Порфирьич. Так же жёлт, бур даже. Тужурочка на нём кожаная, сапожки, фуражечка... Поди, новой власти представитель? Но отчего-то в повадке властной наглости нет, какая у них обычно бывает. Вроде растерянность даже? И что-то озирается всё, словно ищет кого-то.

– Присаживайтесь, Александр Порфирьич, – пригласил Игнат. – Откушайте с дороги, согрейтесь.

Замётов почему-то помедлил, словно решая, но затем всё-таки сел. Опорожнил рюмку, занюхал огурчиком.

– Сыто живёте. А в столицах-то голод!

– Так города, вестимое дело, – фыркнул сильно подвыпивший Яшка.

– Почему же?

– В городах тунеядцы живут да шельмы вроде тебя.

– В городах, к вашему сведению, рабочий класс живёт.

– Эт ты, что ли, рабочий? Руки кажь! То-то! А на мои погляди! – Яшка поднял свои лопаты. – Я четверть века по Волге ходил!

– Вот, стало быть, вы рабочий класс и есть. А города, да будет вам известно, оттого голодают, что разные саботажники хлеб по подполам прячут, а в города не везут.

– А ты заплати полным рублём, так привезут! Я по Волге тысячи пудов возил! Вона, как торговля шла! А теперь ни хрена не стало! Потому что шельмы поналезли, куда их не звали. Как лопать знают, а как добыть – ни в зуб ногой. Разве что из чужого рта стащить. Так, товарищ хороший?

– Помолчал бы ты, Яша, – нахмурился Матвейч. Ещё не хватало, чтобы такие речи до известных ушей дошли... Хоть бы знать, кто этот господин-товарищ Замётов есть теперь. И зачем явился. Хотя... Ясно зачем. Тут Яшка, хоть и пьяный, а как в воду глядит. Из чужого рта тащить. Хлеб для своих гегемонов... А не выкусили бы? Сидит. Бегают льдистые глазки. А про себя-то держит что-то. Одно слово, сволочь...

– А вы, Александр Порфирыч, по какой нужде теперь в Глинском? – спросил Надёжин.

– В Глинском я проездом. Я, собственно, по делам службы еду.

– А где же вы теперь изволите служить? Уж не в ЧК ли?

– Нет, не в ЧК...

Принёс же чёрт... Виляет ещё нагло! Вот напоить тебя сейчас, тюкнуть тяжёлым и прикопать на заднем дворе...

– ЧК, не ЧК, один хрен... – махнул рукой Яшка.

– Что-то я не пойму, – прищурился Замётов. – Вам не по нутру новая власть?

– А с какого перепоя твоя власть мне должна быть по нутру? Чай, пока не озолотила!

– Советская власть войне конец положила!

– Это ты про «похабный» мир, что ль?

– Что-то я в толк не возьму. Вас мир не устраивает? Да не крестьяне ли его больше других желали?

– Мы ничейный мир желали, – подал голос Матвеич. – Без аннексий и контрибуций, по-вашему. Справедливого мира! А не позорного, по которому немцы победителями вышли. Его вы заключили без нашего согласия. А расплачиваться за него теперь должны мы!

– Мы были вынуждены заключить такой мир, потому что солдаты устали воевать и бежали с фронта! Фронт был оставлен!

– Ах, вот оно в чём дело! Стало быть, дезертиры виноваты? – усмехнулся Надёжин. – А кто же призывал солдат: бросать фронт и уходить домой? Не вы ли?

– Да полно! – махнул рукой Матвеич. – Много ли было дезертиров от общего числа солдат? У нас в Глинском большинство ещё в армии! А дезертиров – по пальцам счесть! Комиссар, комбед и члены комбеда! За родину воевать они не захотели. Зато как с бабами здесь сражаться во время разверсток – так «герои»! Так что нечего с больной головы на здоровую сваливать!

– Странно вы рассуждаете, – протянул Замётов. – Вы, трудовой эле... человек, и вдруг против власти трудящихся...

Яшка хватил ещё рюмку, махнул лапищей:

– Эле... Элемент ты хотел сказать? То-то ж! Прежде люди были, а теперь *элементы*! Элементы трудящимися не бывают, вот что! Элементы – вона! Сёмки с Ерёмками! А трудящиеся – лю-ди! Понял, что ль? Я – трудящийся! Игнат, вона, трудящийся! Мы, что ли, власть?! Вы зачем хутора ломать взялись? Помещиков нашли! Люди за свои кровные по двадцать десятин прикупили себе, своим потом их поливали день и ночь, а вы их теперь с земли стоняете?! Постройки их ломаете?! Хутора – это и есть трудовые хозяйства! Хозяйства трудящихся! А не элементов ваших с гегемонами! Сменили одних паразитов на других, а валят на трудящихся!

– Кого это вы паразитами честите?

– Да всех! От царька до этого вашего... как его там? А! К псу, неважно!

– Царя-то бы уж не замал ты, Яков, – покачал головой Надёжин. – При нынешнем государе крестьяне, наконец, своим хозяйством зажить смогли.

– Что верно, то верно, – подтвердил Матвеич. – Худоگو говорить не стану тоже.

– Да ладно вам обоим! – развернулся Яшка. – Царь... Царь... Был бы Царь один, так вокруг же него вся эта орда дармоедская. А в ней, между прочим, одна немчура да полячишки! Да ещё разные черти. И барона этого соседнего поэтому и пришибли, вот что я скажу!

Матвеич поморщился:

– Не был Клеменс бароном.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.